

СТРЕЛЕЦ

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

\$3.50

ИЮЛЬ 1984

проза
поэзия
литературная критика
искусство
интервью
литературный
архив



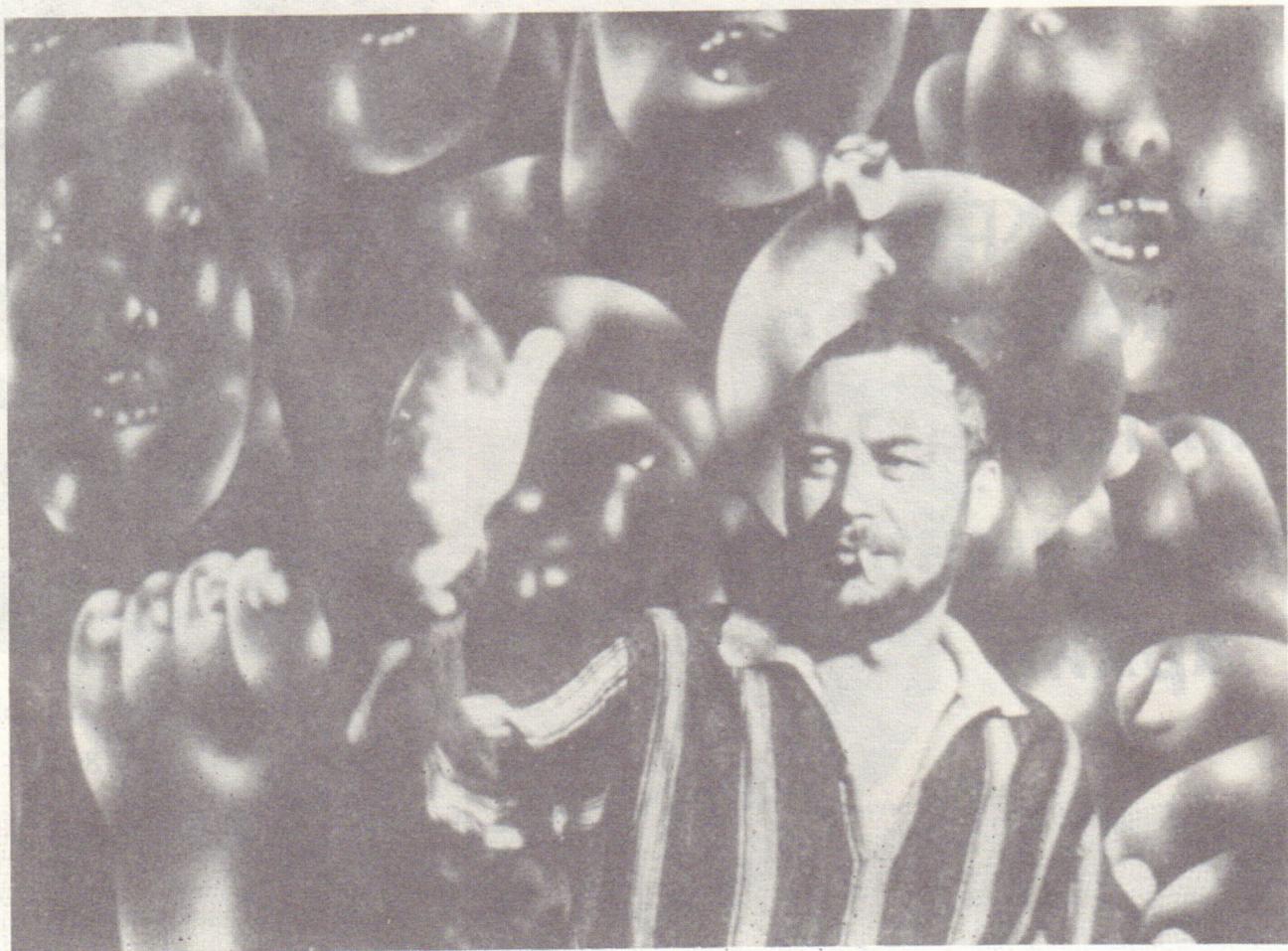
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

14-V-1891 — 10-III-1940

В издательстве «Третья волна»
готовится к печати

александр глезер

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ



ок. 280 стр. \$17.50

Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:
ГАБРИЭЛА ЗЕВЕНИХ
КЕЙТ КЕННИ
АЛЕКСАНДР БОРОДУЛИН



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
92130 Monteron
France



Цена номера – \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка – \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

- 4 Сергей Юрьенен — Нарушитель границы
Роман. *Продолжение*
- 13 Рина Левинзон — «Ночная нота». Стихи
- 14 Дмитрий Савицкий — Лора. Рассказ.
- 18 Константин Кузьминский — Сара Чазис и ее
дитя. Стихи
- ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
- 20 М. Муравник — Москва советская
- 21 С. Кублановский — Вестник РХД № 141
- 23 Елена Тудоровская — Правильно
построенный мир
- ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ
- 34 А. Ветлугин — Записки мерзавца. Роман
- ИНТЕРВЬЮ
- 39 Интервью с Юрием Милославским —
Подцензурной литературы вообще не может
быть
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- 43 Николай Карелин — Репортаж с выставки в
Западной Германии
- 44 Галерея Мари-Терез в Париже — Выставка
семи художников
- САТИРИКОНЬ
- 46 Анатолий Гладиллин — Ода члену
Политбюро. Фельетон

ОТ РЕДАКЦИИ

Рукописи, видимо, и вправду не горят. Тщетно ищейки КГБ хватают их в надежде уничтожить, заточить навечно, развеять по ветру. Два года назад вышел на Западе в издательстве «L'Age d'Homme» роман Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", схваченный КГБ и, казалось бы, безнадежно утерянный. И вот теперь в издательстве ИМКА-Пресс готовится к печати сборник неопубликованных рассказов Варлама Шаламова "Четвертая Вологда".

Уж за автором ли знаменитых "Колымских рассказов" не следили? У него ли что могло сохраниться в его трагическом положении? Невероятно! Но рукописи не горят! И через несколько месяцев мы будем держать в руках эту книгу — "Четвертая Вологда".

А пока что, благодаря любезности профессора Михаила Геллера, мы можем предложить нашим читателям познакомиться с одним из рассказов из новой книги Варлама Шаламова. Рассказ называется "Шаматы доктора Кузьменко" и будет опубликован в следующем номере "Стрельца".

Сергей Юрьенен



Памяти
Екатерины Александровны Юрьенен,
урожденной Грудинкиной
(Санкт Петербург, 1896 –
Ленинград, 1980)

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

3.

ОПЕРАЦИЯ "СОРБОННА"

На следующий день мы поехали на Белорусский вокзал – провожать Дину. На прощанье она пожала Ярику руку, а меня расцеловала.

– Постараюсь хоть в Подпольске куда-нибудь поступить, – сказала она. – Поступлю, и прилечу к тебе в Москву. На ноябрьские праздники, ладно? Жаль, что так получилось вчера.

– О чем ты? – смутился я.

– О том, что не получилось, – засмеялась она и поднялась в вагон. Поезд тронулся, она высунулась из окна:

– До свидания, мальчики!..

– Мы махали ей вслед. Поезд ушел.

– Не люблю я провожать, – сказал Ярик. – Ты как насчет бутылку разломать?

– Бутылку? – я обдумал. – Ну, давай.

Мы пошли в вокзальный ресторан и сели за столик. Он предложил взять водки – грамм 700. Я предпочитал шампанское. Тут я в бабушку: великая трезвенница, она за всю свою жизнь, то есть до октября семнадцатого, выпила единственный бокал шампанского, и то не залпом, а в сумме пригубленных глотков. (Существование после семнадцатого

она за жизнь не считала, и даже глотков не пригубляла, ибо "не с чего праздновать".)

Сошлись на компромиссе – бутылку армянского.

За столом он приоткрыл мне душу.

Его отец был директором подземного завода по обогащению урановой руды. Там заживо гниют смертники – приговоренные к расстрелу. Таких, оказывается, довольно много: каждый день у нас, сказал мне Ярик, вышку дают двум-трем. На четверть миллиарда населения это, может, и немного, и уж никакого сравнения с Большим террором. Но все же... а? Я был скандализован. Я не знал...

Вроде и не по чину директору-отцу, но и он, продолжил Ярик, схватил лучевку. Отмучился. Мамаша-рентгенолог, имея доступ к медицинскому спирту, медленно, но верно спивается, сменив после отца уже седьмого – то ли сожителя, то ли собутыльника. Так что всемо достигнутому он, Ярик, обязан самому себе. Да еще – знакомым ээкам. Среди них ему встретилось немало интеллигентов, был и один из МГУ. А за что он отбывал? За попытку к бегству. Куда? Естественно, на Запад. В Черном море, под Батуми, путь к голландскому сухогрузу ему пересек пограничный катер. Диагноз: измена Родине. Десять лет.

– Он давал мне уроки, – сказал Ярик.

– Уроки чего?

– В том числе, – усмехнулся он, – романской филологии.

После ресторана он предложил мне прогуляться по Белорусскому вокзалу. С перрона номер один в этот вечерний час

как раз убывал знаменитый экспресс "Ост-Вест". В отличие от прочих поездов этот толпы не осаждали, и перрон номер один был пустынен вдаль. Проводники, по двое у входа в каждый вагон, цепко держали нас, фланирующих в поле зрения. Их было больше, чем пассажиров.

— Полным-полно вакантных мест, — заметил Ярик.

Я промолчал.

— Кому-то можно... И в Западный Берлин, и в Кельн, и в Париж, и даже — смотри — в Остенде. Через полчаса отправится. Еще не поздно, можно сбежать за билетом. До этого Остенде. Не хочешь прокатиться? Месяц у нас свободный. Погуляем на воле, а к началу занятий вернемся.

— Будет, — сказал я, невольно понижая голос. — Не мазохируй.

— А я не мазохирую. Я просто не понимаю, почему вон тому красномордому можно, а нам с тобой — нельзя. Отказываюсь понимать. Или мы не свободные люди?

— Этот красномордый несвободен, а мы — свободны.

— Вот я и хочу прогулкой в Остенде этот факт подтвердить.

— Внутренней свободы тебе мало?

— Мне? Мне — мало. Внутренняя, она для рабов.

Мы дошли до конца перрона и повернули обратно. Один из проводников, снова увидев нас, не выдержал и заступил дорогу. Кабан такой, под метр девяносто. Свинец в глазах — хоть пули отливай.

— Что, хлопцы, провожаете кого или так?

— Фак оф, — сказал Ярик, не сбавляя шагу.

Проводник перевел свинец своих кабаньих глазок на меня и отступил. Полной уверенности, что мы свои, советские, у него, видимо, не было.

— Было б чем, — сквозь стиснутые зубы процедил Ярик, — на месте бы положил гада!.. — От подавленной ярости вокруг него возник пульсирующий ореол. — Это к вопросу о мазохизме, — добавил он.

Мы прошли мимо вагона "Москва — Париж", из окна которого ко мне заискивающими глазами так и прикипел самый известный в этом мире советский поэт. На свой манер я тоже проявил садизм — ответил поэту безразличным взглядом, на что тот деланно зевнул и отвернулся.

— Марину Влади видел? — спросил Ярик.

— В каком окне?

— Прошли. — Он вынул из кармана рублевую монету, ногтем большого пальца подбросил под железную крышу перрона... поймал и, сам вдаль глядя, раскрыл на ладони. — Что выпало?

— Орел.

Он проверил; сразу к нему вернулось настроение.

— Так что, — сообщил он, — не судьба мне в МГУ учиться. В Сорбонну запишусь. Не хочешь со мной за компанию?

Я хлопнул его по плечу в знак того, что принимаю эту, сказать откровенно, несколько тяжеловесную провинциальную шутку. Ободренный признанием, он и вовсе впал в сюрреализм:

— В таком случае, — сказал он, — нам придется разориться на пару резиновых грелок.

— У тебя есть сведения, что Жискард д'Эстен все же решил подморозить этот очаг вольнодумия? — поддержал я этот мрачноватый юмор.

— Где тут продаются резиновые грелки? — спросил он у вокзального милиционера, который от изумления схватился за верхнюю левую четверть своих ягодиц, где был пистолет, и

Ярик не стал настаивать, а увел меня к стоянке такси.

Тот же вопрос он задал таксисту, который на мгновение задумался, а потом молча, но уверенно тронул с места. Он привез нас к аптеке в устье улицы Горького, напротив небоскреба "Националя" (в описываемую пору еще зияющего отсутствием, но уже бывшего в проекте). Грелки в аптеке были. И даже двух разных цветов, так что когда продавщица вынула по серо-буро-малиновой, я попросил себе голубовато-зеленоватую. — Не морочьте мне голову, юноша! — крикнула продавщица, но сменила все же, при этом угрожающе глянув на Ярика, чтобы предупредить каприз с его стороны. Обе грелки были характерного дохлого цвета, свойственного резиновым изделиям этой страны, и вызывали ассоциации из области судебной патологоанатомии; и все же мой оттенок был веселее.

— А ты, я вижу, эстет, — усмехнулся он.

— Просто обожаю нюансировать абсурд, — отозвался я. — В этой жизни главное — нюанс. Что же касается твоего выбора, то я не понимаю, зачем тебе Сорбонна? У тебя, друг мой, чисто английское чувство юмора!

— Это не юмор. По дороге в Париж мы в эти грелки будем сшать.

— Вот именно, кипятком!

* * *

С грелками, однако, была не practical joke. Это был первый преступный акт операции под кодовым названием "Сорбонна". Все нюансы мы обсудили в три последующих дня. Оставался нерешенным главный вопрос: хочу ли я бежать?

Схема международного спального вагона в разрезе обнаруживает люфт между крышей и потолком, этакий чердачок, узкую щель, забившись в которую на Белорусском вокзале, мы должны были пролежать трое суток, справляя малую нужду в грелки, большую в полиэтиленовые пакеты, питаясь шоколадом, глюкозой в таблетках и сиропом из шиповника. После этого мы записывались в Сорбонну, освобождаясь на всю оставшуюся жизнь. В случае благополучного исхода. В негативном случае нас проглатывает сверхдержава и переваривает лет 10-15 за "измену". В чреве Сибири. Я старался не рисовать себе образы лагеря, из которого в году этак 1984-м нас выпустят обратно в СССР, я старался сосредоточиться на главном: хочу ли я потерять свой советский опыт?..

Обсуждать план "Сорбонна" в стенах МГУ, имеющих, по сведениям моего друга, уши, было рискованно, так что разговоры мы вели на открытом воздухе, под беспощадным солнцем августа, заодно знакомясь с Москвой. Или прощаясь?..

В последний день перед побегом мы созерцали столпицу, облокотясь на горячий, до зеркального блеска отшлифованный гранит смотровой площадки бывших Воробьевых (с 1934 — Ленинских) гор, дорогих сердцу каждого патриота тем, что именно здесь когда-то мальчики Огарев и Герцен поклялись посвятить себя борьбе за свободу. Ах, горы Воробьевы! Судьбоносное место. Место не всегда и не так сбывающихся надежд. Здесь, над Москвой, Александр I предполагал поставить грандиозный храм Господень после победы над Наполеоном, который, скрестив руки, созерцал аванпост Востока отсюда же... Церковка махонькая тут, с левого фланга прилепилась, но вместо запроектированного царем Божьего храма на Воробьевых Сталин — воздвиг "Храм Науки", наш Университет. Имея его у себя за плечами, мы смотрели над Москвой-рекой, куда, сразу из-под парашюта, обрывалась выгоревшая листва лесистого левобережья, и вся Москва была перед нами... Великий

город! Нет, конечно, у меня, петербуржца, он вызывал безоговорочное архитектурное отрицание. Сведущие люди говорили, что по Нью-Йорку нельзя судить о Штатах, о России же судить не только можно, но и должно вот по этому сгущенному торжеству беззакония на противоположном низком берегу Москва-реки. Беззакония безудержного, буйного. Что есть Москва? Отсутствие образа. Безобразия, сталкивающее лбами Новодевичий монастырь с Большой спортивной ареной в Лужниках и создающее внутри Кремля Дворец Съездов, а поперек Арбата — проспект Калинина. Форменное безобразие, воплощаемое, впрочем, с замечательной энергией. И тем не менее, ни Европа Азию, ни Азия Европу на этих семи холмах еще не победила. Они все еще продолжают свой поединок, вот уже девятое столетие не выходя из объятий жестокого клинча. Ярик спрашивает:

— Так как ты решил, друг?

— Пожалуй, воздержусь, — говорю я.

— Так...

— Видишь ли, я хочу стать писателем.

— Тоталитаризм, — рубит он, — исключает искусство.

— Но ведь не жизнь? А мне нужен жизненный опыт. Не могу я в семнадцать лет вырвать с корнем свою русскую судьбу.

— Советскую.

— Русско-советскую, да. Так вот взять и отказаться от возложенной на меня миссии. Да нет, Ярик, я не шучу! Здесь я себя чувствую несчастливым. Так я понял смысл своего присутствия или ошибся — время покажет, но одно я говорю, мне кажется, безошибочно: место мое здесь.

— Мистицизм подпускаешь?.. Ты же из пижонства свой крестик носишь? Ладно. Молчу. Твои дела.

— Для меня, если хочешь, здесь фронт. Тогда как Париж, если серьезно говорить, — глубокий тыл. Скука там.

— Может, ты и сражение тут хочешь дать? Еще и Георгиевский крест заслужить? Знаешь, я тоже не тыловая крыса. Тем не менее, — ожесточенно сказал он, — лично я отсюда убываю. Потому что никакого фронта здесь нет. Пейзаж после битвы. Которая кончилась давным-давно, и не в вашу, Алеша, пользу.

— Если бы она кончилась, нас бы уже не было.

— Нас и нет. Давно.

— Вот как?

— А ты еще не заметил?

— Пока нет.

— Ты же писателем хочешь стать, тебе нужно развивать наблюдательность. Вокруг нас безликая масса. Мелкая, кроважная тварь. Гнусь. В тайге привязывают человека к дереву, и на следующий день от него ничего не остается. Был человек, а стало черное копошение. Миллиард гнусов, каждый из которых, заметь, страшно доволен, разбухнув от капельки крови. Ты — как знаешь, а я лично не хочу, чтобы меня съела эта масса. Жить хочу, ибо, — усмехнулся Ярик, — не мазохист я. Так значит, — перешел он на деловой тон, — я кандидатуру своего земляка снимаю. Ты ведь меня завинтишь?

Кандидатурой был завербованный им лопушок шестнадцати неполных лет, абитуриент из сибирского села Шушенское, где при царе блаженствовал в ссылке Ленин. Теперь Шушенское превратилось в мемориальный центр, но производит на свет Божий не ленинцев, а совсем наоборот, судя по означенному лопушку, который должен был затянуть обратно болты люка на крыше международного вагона и замазать их мазутной гарью, чтобы в Бресте, на государственной границе,

солдаты погранвойск КГБ ничего подозрительного не заметили: по сведениям Ярика они проходят весь экспресс "Ост-Вест" и по крышам тоже.

— Конечно, завинчу. Ты помнишь финал "Мастера и Маргариты"?

Он не помнил. И даже не слышал о существовании такой книги. Его литература не интересует, он — лингвист, вдохновившийся лозунгом Карла Маркса: "Иностранный язык — оружие в борьбе за жизнь".

— Дело в том, — перебил я невежу, — что в романе именно отсюда, с Воробьевых гор, стартуют на Запад булгаковские бесы, прихватывая с собой отчаявшегося писателя. Когда-нибудь здесь еще поставят памятник.

— Лично я терпеть не могу монументальной пропаганды.

— Я тоже, но...

С этими словами мы оттолкнулись от раскаленного гранита, прошли между двумя роскошными автобусами английского туристического агентства на Воробьевское шоссе и по размякшему асфальту побрели к громаде МГУ, продолжая разговор о романе Булгакова.

— Так его Мастер, — сказал Ярик, — все же согласился выбрать свободу?

— Мастер был в изнеможении, — сказал я. — Бесы унесли его с поля боя. Я же, друг мой, полон жизненной энергии, сил и здоровья. Мне не в тыл, мне на передовую бы попасть. А как? Вот моя ближайшая задача. Ну, а там!..

Я принял боксерскую стойку и, прыгая рядом с Яриком, вступил в бой с тенью, сразу же, по этакой жаре, облившись потом.

— Дело, похоже, к грозе идет.

— Хорошо бы.

Ночь. Москва уже спит, только разлив железнодорожных путей внизу продолжает жить своей тревожной жизнью в свете прожекторов. Далеко видно с моста. Мы курим, облокотясь на перила. На плече у будущего пассажира фирменная сумка SAS — скандинавский аэрофлот.

— Вот тот вагон, видишь? — показывает он.

— Прямо из центра Москвы — ну, друг! Смелость города берет.

— Мне бы один только взять, главный... — Он стреляет окурком вниз, сдерживает зевотку нервозности. — Ладно. Пошли?

Русло железной дороги защищено простым деревянным забором. Мы долго добираемся к нему через кочки замусоренного пустыря, петляем лабиринтом прохода между какими-то гаражами. Ярик сдвигает заранее выбитую доску, и мы — с этой секунды нарушители — протискиваемся в полосу отчуждения. Теперь перебежками. Тень. Свет. Скатываемся в овраг, полный мусора. Выползаем на бруствер. Где-то за стенами вагонов продвигается тяжелый состав. В ожидании, когда шум его поровняется с нами, Ярик неторопливо обрывает лепестки ромашки. Губы его шевелятся: "Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет... к черту пошлет..." Отбросив ромашку, он вскакивает, и мы бежим к первой линии, переползаем рельсы под вагоном, попадаем под прожектор, тут же подныриваем под следующий и залгаем.

Перед нами, прогибая рельсу, катятся колеса товарняка, который кажется бесконечным, но внезапно обрывается, унося в грохоте вооруженного охранника, глядящего назад с тормозной площадки последнего вагона.

Вот он, наконец, наш — "Ост-Вест"! Отцепленный. Пе-

ремазаные, мы выбираемся с теневой стороны вагона. На боку у него табличка:

МОСКВА
Брест Варшава Познань
Берлин Кельн
ПАРИЖ

Ярик прижимается щекой к теплому металлу борта. Кто-то идет с той стороны. Приближается похрустывание щебня, грузное, усталое. Пролетариат. Идет и ведет разговор на два голоса. Пожилой голос: "Не начислили премиальных, в том твоя вина: не залупайся. Было время, и я залупался. Было да сплыло". Пренебрежительный плевок, после чего молодой голос с яростью: "Да ебал я его!" "Еби, — не возразил пожилой, — но еби с умом. Про себя". "Как я могу про себя, когда он меня матом в лицо. Я что, не человек?" "Ладно тебе. Ты вот что: заходи по утрянке. Может, матч повторят — посмотрим, пивка поьем, глядишь, сообща что и надумаем..." Хруст постепенно удалился.

— Надумают они, — говорит Ярик... — После пива за пол-литрой сбегать. Эх, класс-гегемон!..

По крыше бьет свет прожектора. Страшно шевелиться на этой крыше. Кажется, вот-вот на всю Москву взвоят сирена тревоги. Еще страшней подняться на колени. Но приходится: из позиции лежа отвернуть гайку нельзя. Инструмент у нас замечательный: Made in England. За бутылку водки его нам вынес под полой слесарь из здания университетских мастерских. Но налегать все равно приходится в четыре руки. Не соскользнуть бы: по обе стороны крыши пустое пространство, справа — свет, слева — тень. Оттуда слева подходит товарняк, и мы залегаем, а когда поднимаемся, — остается только поднять крышку, — справа раздастся окрик:

— Эй, вы чего там?!

— Атас! — Ярик схватывает сумку, прыгает в тень, вниз, под грохочущие колеса товарняка, летящего поперек ночи прерывистой стеной.

— Стой, гад! — сладострастно завопил набегающий справа. — Врешь, не уйдешь!

Десять лет? Лучше смерть! Я отталкиваюсь о выпуклый металл, и — уже как постороннее — сбрасываю свое тело в наполненную грохотом теснину. Оно ударилось, поехало по щебню, тормозя себя ладонями, вскочило, целое, и мы с ним вновь слились в экстазе. Улетающий во тьму Ярик что-то крикнул, махнул рукой. Я погнался за ним мимо обгоняющих колес, в тесном грохочущем коридоре, рванулся изо всех, поймал столбик поручня — рывок — и меня выдернуло из ситуации, чреватой необратимыми последствиями: побои в милиции. Народный суд. Приговор. Этап в Сибирь. ГУЛаг. Барак. Лесоповал. Сифилитичный лагерный "козел", который вот-вот разорвет мне, скрученному, мой девственный, мой аристократический анус... И возвращение в СССР: в 1984-м!..

Ноги дрожали. В нише тормозной площадки пластался мой друг, плечи у него тряслись, он рыдал. Я хлопнул его по плечу, уперся ногой в щиток, прижался к стене. Слева пролетела диспетчерская "горка", в ее свете я увидел — как бы набирая высоту — две фигурки, бежавшие вспять, к месту ЧП, и одна, в военной форме, выдергивала на бегу застрявший пистолет.

Крылья свободы распахнулись во мне. Я крепко вмазал себя ладонью левой по локтевому сгибу правой и показал им

всем во-о-от такой, крича что-то ликующее, чего не расслышал в выбивающем все звуки грохоте спасения:

— Врешь-не возьмешь! Ур-р-ра!

Далеко от Москвы мы поочередно катапультировались в ночь. Сделали это грамотно, по ходу поезда. Скатились по откосу и по локти въехали в одно и то же болото. Когда над нами р-раз и оборвался грохот порожняка, болото вспыхнуло серебром, потом замерцало и принялось восстанавливать разбитую нами луну...

— Ты как, друг? — встаю я навстречу подходящей тени.

— Цел. А ты?

— Стрелки на часах соскочили.

— А я ботинок потерял.

— Поищем?

— Перекурим сперва.

Мы оттерли руки пучками травы и сели на камень. Ярик вынул сигареты. Они были все переломаны. Он выбрал два обломка побольше, и мы закурили. Он стащил ботинок и забросил его в болотце, снова разбив луну.

— На хуя?

— Что ж, всю жизнь, что ли, в ширпотребе ходить? — Снял носки, выжал, сунул в карман. — Нет, пиздец! Покупаю сапоги, как у тебя, джинсы... Белым человеком становлюсь.

— Тоже верно. — Я обхлопал камень. — Врезались бы — мозги вдребезги.

— Промахнулись... Не судьба, значит... Что ж, друг, добро пожаловать в СССР!

Засмеявшись, я хлопнул его по плечу. Мы встали и пошли, держа курс на восток, к зареву "образцового коммунистического города". Шли мы долго — скошенными лугами, на которых темными пятнами грузнели стога сена, накрытые полиэтиленом; потом березняком, трогая на ходу тонкие, меловые наощупь стволы. На опушке мы встретили стреноженную лошадь. Мы накормили ее хлебом, сахаром и витамином С в таблетках; губы у нее были замшевые, и, взяв таблетку с ладони, она сильно и тепло дунула нам на руки. Ярик вывернул перед ней все содержимое своей дорожной авиасумки, и мы пошли дальше налегке. Из лесу поднялись на шоссе, где через пару километров — такая удача — тормознули зеленый огонек такси. Пока мы бежали к машине, шофер закрыл стекло — такой у нас был босяцкий вид. — Куда? — спросил он через узкую щелку.

— В МГУ на Ленгоры.

— Студенты? Влезайте, ребята! — Он отомкнул дверцы. — Кто это вас так отметелил? С подмосковной шпаной кралю не поделили?

Он то и дело взглядывал на нас в зеркало заднего обзора.

— Угадал, шеф, — сказал я.

— Точно? У меня, парни, глаз-ватерпас, сходу все просекаю. Выпить хотите?

— Если есть, давай, — сказал Ярик.

— Как нет, есть. Для таких вот, как вы, и вожу. — Он достал из-под сиденья бутылку водки. Для ходяков ночных... Червончик.

— Сколько?! Ей, этой водке, госцена — 3.62.

— Ночная такса, парни... Берете?

После всей этой колотыбы водка пошла за милую душу. Захмелев, я испытал блаженство усталости. Шеф, воровато оглянувшись на нас, дремлющих, передвинул шкалу своего транзисторного приемника с московского круглосуточного

ный отпад и даже обнял и обхлопал преображенного и счастливого клиента. После этого он угостил клиента советской сигаретой из своей показной пачки, рассчитанной на гостей (свое "Мальборо" Марио курил только в одиночестве). Ярик вынул из своих старых штанов пачку денег и, морщась от дыма, спросил: "Сколько?" Марио держал в уме цифру двести, но, увидев деньги, на всякий случай сказал:

– Триста, – которые Ярик ему тут же и отсчитал.

Марио пересчитал деньги и, проявляя любезность, радушно завернул советскую одежду клиента в старый номер газеты итальянских коммунистов "Унита". Они расстались, взаимно довольные. В дверях Ярик сказал "ариведерчи" и, приятно рассмеявшись, Марио еще раз хлопнул по плечу своего советского друга.

Сверток со старой одеждой по пути домой, в зону "В", Ярик затолкал в гипсовую урну сталинского образца.

Без кофе я отказывался проснуться. Не могу без утреннего кофе. Для нас с бабушкой это было – святое. Нет, в чайной Москве кофейному питейцу не жизнь.

– Да ты посмотри на меня хоть одним глазом, – добивался он, – сразу встанешь.

– Не встану, я – гетеросексуал, – кричал я из-под подушки. – И вообще, пошло оно все в пизду и на хуй! Перевожусь в ЛГУ! Пока кофию не откушаю, не встану! Все.

Он понял, что это серьезно. Исчез и вернулся, неся в пальцах блюдецко с чашечкой, не только с кофе, но еще и тонкого фарфору. И еще "Кент" подал, и огня поднес:

– Ну, говори скорей, законодатель вкуса: как я тебе?

– Хули, – осмотрел я его... – Ковбой московский.

– Три сотни отдал. Не много?

– И даже сапоги, бля, красные! Три? – Деньги были огромные, но тут уж ничего не поделаешь: не хочешь выглядеть массовидно, плати. – Что ж, если деньги есть... Нормально.

– Я бы и пять отдал, – сказал Ярик. – Да! Вот, для тебя сорвал, не заинтересует? – Он вынул из кармана машинописное объявление.

Я допил кофе и увидел на донышке дракона, перевернул чашечку: Made in Japan. – Откуда?

– Так, – не моргнув он и глазом.

– То есть?

– Позаимствовал на кухне.

– Я вижу, отношение к частной собственности у тебя, мой друг, чисто социалистическое. Благодарствуй, но сделай милость, а? Снеси обратно.

– Да ладно, Алеша, брось. Ты объявление прочитай.

– У каждого свои странности, – сказал я, – у меня свои.

Очень тебя прошу.

Он побледнел. – Да ведь не советскому принадлежит, иностранцу. Он что, иностранец, без этой посуды обеднеет? Да пошел он!.. У него и так все есть, включая свободу приехать сюда, насладиться вволю тоталитаризмом, и съебать, когда надоест. Обойдется без фарфора! – Все прыщи обесцветились, в такой он был ярости.

Я сбросил простыню (благо эрекция утренняя отхлынула разом от встречной эмоции)... Надел халат. – На какой кухне стояла? Я сам отнесу.

Он схватил фарфор и хлопнул об пол. И еще сапогом новокупленным, краснокожим, раздавил, трижды провернув каблук: – Вот им за свободу слова! Вот им за свободу печати! Вот, вот!..

Я ударил его по правой в челюсть, и он, опрокинув стул,

отелетел и грохнулся о дверь так, что из нее чуть не повывлетали квадраты замутненных стекол. Вскочил и принял было боксерскую стойку, но я, садясь на свой диван, сквозь зубы процедил: "П-продукт системы..." – и он, вместо того, чтобы наброситься на меня, оцепенел. Потом резко повернулся на каблуках и вышел, закрыв за собой дверь так спокойно, что нельзя было не оценить его выдержки. Я взял объявление, которое он мне содрал внизу, но никак не мог понять, что там написано.

Он вернулся через минуту, вынул из-под кровати чемодан и стал набивать свою выдавшую виды голубую авиасумку: пасту положил, зубную щетку, плавки... Взял со стола пачку "Столичных".

– Дай и мне, – попросил я.

Он протянул пачку – избегая моего взгляда. Мы закурили.

– К твоему сведению, – сказал он, продолжая сборы, – раз на меня подняли руку. Мне было 13. Сожитель мамашин, начальник конвоя. Так вот, он вскоре после этого попал в больницу. С травмой черепной коробки. Некто, оставшийся неопознанным, подстерег его в пургу и приложил гантелью. Пятикилограммовой.

– Ты перед ним тоже садировал чужие чашки? Что ж, доставай свою гантель, ебни и будем квиты.

– Нет, там все было серьезнее. Там этот, как его, – комплекс Эдипа разыграл. Но чтоб из-за чашечки!.. Просто не понимаю. Особенно после вчерашнего, когда ради меня ты на такой риск пошел... Ладно! – Он взвалил на плечо сумку. – Не поминай лихом.

– Куда это ты наладился?

– Куда ж?.. На Черноморское побережье Кавказа слетаю. Чего мне тут? Еще ведь три недели до начал занятий. Сейчас на Красную площадь, в ГУМ, ласты куплю, маску с трубкой. Лодку надувную. Потом самолетом в Адлер, оттуда в Сухуми электричкой, а из Сухуми охота мне круиз морской совершить до Батуми. На бывшем нацистском пароходе, который назывался "Адольф Гитлер", а теперь знаешь как?

Я пожал плечами. На Черном море я ни разу не был. Моя сфера Финский залив, наша бедная Балтика.

– "Россия". – Он презрительно усмехнулся. В детстве мы с матерью и батеи совершили раз круиз. Там на ступеньках, когда из ресторана на палубу поднимаешься, еще набойки остались, и на каждой – прежнее название. Готическими буквами. Батя мне, помню, такого тумака отвесил, когда я обратил внимание и зачитал вслух. Эти разьебаи не потрудились со своего трофея набойки прежние сорвать, но замечать этого было нельзя. Вот так... Лицемерная страна нам с тобой досталась по рождению, а? Обидно. Очень. Сверхдержава все-таки... – Он сел напротив, на кровать, и понизил голос. – С этого "Адольфа Гитлера", он же "Россия", в принципе можно соскочить. Была бы только непогода.

– Куда соскочить?

– В море.

– А потом?

– Потом на веслах поперек Черного моря – в направлении соседней, – ухмылка, – пока еще недружественной страны, участницы агрессивного блока НАТО.

– Так, – сказал я. – А он, мятежный, ищет бури?

– Не бури. Просто непогоды. Ночного, допустим, ливня, чтобы, – усмешка, – радары пограничные отсырели...

– Упорный ты.

– Какой есть.

— Во всяком случае, — сказал я, — перед началом учебного года в МГУ подышать морским воздухом будет полезно для мозгов. Ну, а в случае чего... рассчитывай на меня. Сколько?.. хоть десять, хоть все пятнадцать буду высылать тебе посылки с сухофруктами.

— Сухофруктов не надо, терпеть их не могу. — Он поджался. — В надежде, что на этот раз мне повезет, — руку сунул, — прощай!

Оставшись один, я некоторое время побыл в неподвижности. Потом нагнулся и поднял с пола объявление, содрванное Яриком для меня. И обомлел: машинка продается!.. Пишущая машинка "Колибри"! Ну, друг!.. Мигом оделся, натянул сапоги и, хрустнув по крошеву японского фарфора, побежал в холл, звонить по приложенному телефону...

"Колибри" стоила 150 рублей.

Денег у меня не было, но с собой из Ленинграда я захватил свою отроческую коллекцию монет. Я похвалил себя за предусмотрительность, набил монетами свою брезентовую сумку и выехал из МГУ в Москву. Где-то должно быть место, где можно реализовать коллекцию. Оно, это место, было. Называлось оно — Правление Всесоюзного общества коллекционеров. Политбюро всевозможных плюшкиных, собирателей всяких мелочей, от тех же монет до лесных коряг, имя которым в этой стране — легион. Десятки миллионов! Причем, все взрослые люди. Ну ладно я — питерский мальчик, сублимировавшийся в этой фальшивой страсти, но они-то, эти миллионы? Подумать страшно, какие формы принимают подавленные страсти этой страны! Дело шло уже к концу рабочего дня, когда я разыскал на улице Горького, чуть ниже Пушкинской площади, это вот Правление. Гнусное местечко. Затоптанное и провонявшее потом мелочной алчности.

По зову кассирши из внутренней двери, оббитой дерматином, выкатился брюхатый потный старикашка: — Мы на сегодня кончили, юноша. Что у вас за душой?

— Русское серебро, — ответил я с достоинством.

В дохлых глазах старика шевельнулся интерес. — Серебро, оно тоже разное бывает, — ворчливо сказал он. — Если у вас советские полтиннички двадцатых годов, сразу предупреждаю: на крупную сумму не рассчитывайте.

— Мое серебро, — не без вызова сказал я, — вышло из обращения в 1917-м.

И брякнул сумкой об стол. Старик мигнул кассирше, которая уже пудрилась: минутку, мол. Из двери выползли еще трое стариков, один гнусней другого: сталинские палачи на пенсии, на персональной. Обговаривая свои дела по руководству собирателями этой страны, они остановились у стола, не спуская глаз с моей сумки. — Что-нибудь любопытное?

— Помилуйте, откуда? — ответил мой старик. — Паратройка полтинничков, из тех, что бабушка откладывала на черный день...

— Так мы вас подождем.

— Стоит ли в этой духоте? Спускайтесь, нарзанчиком освежитесь, — и "мой" старик бросил мне взгляд, умоляя не открывать сокровищ при этих своих коллегах, а он, дескать, в долгу не останется, и одновременно спешил отвлечь их: — Кстати, пора уже со всей остротой поставить на правлении вопрос о выделении средств на вентилятор! Даже я еле жабрами шевелю, а вам-то как, Лев Ильич, с вашим-то микроинфарктиком?

Объединяться с ним я не пожелал. Расстегнул сумку и вылил серебро на стол. И даже сам поразился великолепию своей коллекции: монеты были в идеальном состоянии. Чис-

тые, выпуклые, не стертые низменными человеческими страстями рельефы российских царствующих особ и двухглавых — Восточно-Западных — имперских орлов. Иные, например, Трехсотлетник, рубль, отчеканенный в 1913 по случаю 300-летнего юбилея дома Романовых, со сдвоенными профилями царей Алексея Михайловича и Николая Второго, были даже подернуты мерцающе-нежным туманцем.

Первым опомнился тот, кого назвали Лев Ильич. — Пара полтинничков, — счастливо засмеялся он, — ну и хитрец!.. — Он вытащил из карманов конторские нарукавники и, этак томясь и победительно взглядывая на "моего" старика, натянул эти бюрократические аксессуары на рукава застиранной рубашки, какие при Сталине носили. — Тут не пара полтинничков, тут музыки как минимум на час. Раечка, сколько у тебя наличных в кассе? Ага... Тогда ты можешь поспешить на зов вечерних наслаждений, а я уж из своих с молодым человеком рассчитаюсь. Потом оформим, задним числом. Нуте-с, товарищи, к столу!

Старики вплотную обсели мое серебро. Конечно, я заранее знал, что буду обманут, с тем и шел, чтобы меня обманули, вопрос был только в том, насколько?.. Началась сортировка. Один паук выбирал лепестковые монеты удельных русских княжеств, другой занялся серебряной мелочишкой за последующие столетия. Лев Ильич, как главный коллекционер Союза СССР, взялся за рубли. Для начала он выловил "крестовик" 1703 года, дата основания Санкт-Петербурга, с Петром Великим в кольчуге. "Крестовики" сами по себе большая редкость, но с этой датой и в столь идеальном, зеркальном почти состоянии, как у меня, им просто нет цены. Этот "крестовик" подарила мне бабушкина подруга, графиня Воронцова-Пистолькорс, всех, всех пережившая. — Просто так, за чистые глаза, за то, что "вы по-петербургски красивы, мальчуган!.."

— Какой роскошный цар-р-р... Десять рубликов устроит?

Я выхватил свой "крестовик". — Вне коммерции!

Как он взвился! Грозил, что вообще откажется покупать, молил, что без Петра Великого династия рублей неполной будет, и долго еще потом, выкладывая мои монеты по царям, царицам и годам чеканки скулил и убивался. Потом все четверо пошептались, когорта скупых рыцарей, и выдвинули свое предложение: хочу ли я, чтобы оценивали по отдельности каждую монету или чтобы оптом? Если по отдельности, сверяясь с каталогами, то "приходите завтра".

— Оптом, — сказал я.

— Но денег будет меньше.

— Сколько?

— Ну, скажем... 200.

Я нахмурился, стараясь не выдать свое ликование: пишущая машинка стоила 150.

— Что, конечно, объективно не отражает стоимости данной коллекции, — оговорился Лев Ильич, — но... Заметьте, нас не интересует ее, так сказать, генезис...

— Это моя коллекция, — смутился я, — я ее собирал.

— ...нас не интересует, не интересует! — замахаля руками Лев Ильич. — Конечно, вы, конечно, но ведь это, согласитесь, недоказуемо. Человек вы совсем еще юный, а данная коллекция, если взглянуть на нее тематически, отражает не совсем юное и уж совсем не наше умонастроение. Тут с первого взгляда видно увлечение самодержавной монархией, в борьбе с которой мы вот, например, с товарищами отчасти даже проливали кровь...

Этой демагогии я не выдержал. — Чью?

— Как вы сказали? — не допоял Лев Ильич... — Но-но! Не забывайте, молодой человек! — и на глазах он стал наливаясь апоплексической кровью, но вдруг раздумал и предложил мне "взвесить. Обдумать. Мы вас не торопим".

— О'кей, — сказал я.

— Иными словами?..

— Согласен.

Мне тут же отсчитали 180. Я поднял глаза: а еще два червонца?..

— За вычетом двадцати процентов, — подло скривился Лев Ильич. — Как положено. У нас не черный рынок, юноша, у нас — государственное заведение.

А, черт с вами!.. Спустя пять минут, на улице Горького, я тормознул мотор, спустя сорок пять — уже стоял на коленях перед своей мечтой, расчехленной на стуле. Так вот какая ты, "Колибри"! Корпус серебристо-зеленоват, клавиатура из плотных пуговок темно-зеленой пластмассы, рычажки отражают меня зеркальным никелем. Я огладил скругленные металлические бока, взвесил на ладонях портативную тяжесть.

— Абсолютно девственна, — сказал продавец. — Я к ней прикоснулся только раз, чтобы написать объявление о продаже.

Я вкатил под валик чистую страницу, сдвинул каретку, пошевелил пальцами...

— Я вам свежую ленту вставил, — сказал продавец.

"Терпение, — сказал я себе, — терпение..." Зачехлил машинку, поднялся и вынул деньги:

— Здесь полтора.

Продавец неожиданно убрал руки за спину. Ему было лет 45, этому туго налитому благоденствием столичному жителю, служившему по ведомству внешней торговли. Из-за грани он вывез столько мебели и прочего барахла, включая распакованный унитаз розового фаянса, что в этой огромной трехкомнатной квартире было не повернуться. Он был страшно богат. Тем не менее глаза его, устремленные на меня, разили кинжальным коммерческим блеском.

— Дело в том, — сказал он, — что уже после вас мне позвонили из МГУ и предложили двести.

— Как двести?

— Так, — сказал он. — Спрос, знаете ли, растет. Так как, берете или...

— Беру. — Я вывернул из кармана джинсов последние деньги. Вот три червонца, оставшиеся от продажи русского серебра. Вот мои кровные, те, что на жизнь. Три пятерки, металлический рубль с профилем Ленина... Все равно на это я до первой стипендии — полтора месяца! — не дотяну. Но и на машинку не хватало, еще четыре рубля надо... Я выгреб мелочь и принялся пересчитывать, снимая с монет приставшие катышки карманного мусора.

— Вы на каком факультете? — спросил продавец.

— На филфаке...

— Так я подумал. Неперспективный факультет. Гуманитарное время, юноша, кончилось.

— По-моему, только начинается. В начале, — буркнул я, — было Слово... Вот еще 79 копеек. Больше у меня нет.

— Было, — сказал он, — в начале. А мы, юноша, в конце живем. Перед самым занавесом. Так что какие уж тут слова, попискивания одни. — Он упрятал в карман мои бумажки. — Владейте, так и быть! Мелочь можете себе на метро оставить.

Я подхватил "Колибри" и окрыленно загремел вниз по лестнице. На жизнь отныне не было, но, с другой стороны,

зачем писателю жить? Жить ему вовсе не к чему?.. Не хлебом единым. К тому же в столовке хлеб бесплатный.

В МГУ я зашел на почту, где мне неожиданно выкинули письмо "до востребования". От Дины. По пути в свою келью я не выдержал и вскрыл конверт. Прислонился к гранитной колонне...

"Подпольск, 7 августа, 196-

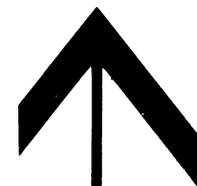
Дорогой Алеша, здравствуй.

Во первых строках моего письма сообщаю тебе, что мое падение на дно благополучно продолжается. Не только в твой МГУ, но в свой заштатный университетшко провалилась на первом же экзамене. Был бы в этом паршивом городе хоть один небоскреб, равный вашему, я бы сейчас, точно, не устояла б от соблазна, несмотря на ту воспитательную работу, которую ты со мной провел в одну незабываемую ночь, когда нам помешал Ярик. Как он, кстати? Большой ему привет.

Вот сижу сейчас одна в квартире, и что мне в этой жизни делать — ума не приложу. Хорошо хоть предки на Кавказе и ничего пока не знают. А вернутся ведь — со свету сживут. Дело в том, что на братца они давным-давно рукой махнули: в семье, мол, не без уroda! Братец у меня, мало того, что прол — шпана, по которой милиция плачет, оттого что посадить не может. Предок как-никак шишка, ты ж понимаешь. Если б сейчас бабки, прилетела б к тебе в Москву. Но не только в Москву — сухого бутылку взять себе не могу! Эта сволочь, братец мой, выманил у меня вчера 50 рэ, до аванса говорит, а не дашь — предкам телеграмму отобью о твоем провале. Зачем я дала, вот идиотка! Ну и отбил бы, я бы уже с тобой была. А так он бабки взял — и с концами. Запил, подонок, не иначе. Пропаший тип.

Теперь и я тоже. У них на меня, понимаешь, все надежды были, что поступлю, что человеком стану и т.п. Что я,

Читайте в следующем номере «Стрельца»



ПРОЗА: А. ВЕТЛУГИН, ВАРЛАМ ШАЛАМОВ, СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН.

ПОЭЗИЯ: МИХАИЛ ГРОБМАН, ЮРИЙ КАШКАРОВ.

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ГОЛИЦЫНА О ПОЭМЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА "СТРАНА НЕГОДЯЕВ".

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ ЮРИЕМ КУПЕРОМ. РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ.

СТАТЬИ О ВЫСТАВКАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ.



виновата, что оправдать не смогла? Попробуй оправдай, когда повсюду один блат! Если уж там им хотелось видеть меня студенткой, могли бы, скажи, как все нормальные предки со связями, и меня устроить по благу. Но мой предок, он только требует, а помочь ничем в критической ситуации не хочет. Он, ко всему прочему, еще и принципиальный. Представляешь, Алеша, он действительно во всю эту чушь, которой нам мозги пудрят, верит, как пионер. Что живем мы в лучшем из миров, где молодым везде у нас дорога и с каждым днем все радостнее жить. Генерал, а парит в облаках. Полностью оторвался от реальности. И абсолютно непробиваем. Жена, говорит, Сталина, и то поступала в вуз на общих основаниях. Так это когда было! Сейчас, говорю, из нашего круга иначе, чем по благу, нельзя. А он как гаркнет: нигилистка! Только и можете, что критиковать! Ничего святого и т.п. Я, говорит, из-за тебя честь мундира позорить не стану. Не поступила в МГУ, поступишь в этот. А не поступишь — изволь, к станку.

Хоть в петлю, Алеша. Ну а что еще, скажи, остается? Второй день сижу тут взаперти, к телефону не подхожу, накачиваюсь кофе, смолю одну за другой, а ничего конструктивного надумать не могу. Полная передо мной пустота. Не на завод же, в самом деле, идти. Есть же на свете страны, где можно просто взять и записаться в университет, безо всяких экзаменов, без блата и протекций! Ну почему все у нас так? Хотя вот "Комсомолка" сегодняшняя извещает, что в Японии в этом смысле даже еще хуже: непоступившие там кончают с собой, можно сказать, в массовом порядке. Оно, может, и лучше. Естественный отбор. Не знаю, рещусь ли я сделать себе хакари, но если это

произойдет, я хочу, чтобы вы знали, милый друг: с этой сволочной земли бедная Лиза унесла в лучший мир ваш ангельский образ.

Д.

P.S. Пришли мне свою фотографию, очень прошу."

Обратный адрес был: улица Коммунистическая, дом 3, квартира 5. Подпольск. Это, конечно, не Владивосток, куда добираться две недели, ночь всего пути. А деньги? Крест, что ли, загнать? Я вынул из-под рубашки бабушкин золотой крест, подержал и бросил обратно за пазуху. Но и не "Коллибри", нет. Джинсы? Тоже отпадает, не могу я перед ней в советских штанах. Письмо звало в дорогу, но осилить ее с шестьюдесятью четырьмя копейками можно было разве что зайцем. На случай взлома я спрятал машинку под матрас, запер комнату и отправился на тот же Белорусский вокзал — пытаться счастья.

...Через час я, сгибаясь под тяжестью двух роскошных чемоданов, поднялся в экспресс "Ост-Вест" и пошел по коридору вслед за их владельцем, следующим в Кельн, кстати сказать, японцем.

(Продолжение следует)

РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

**Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.
Публикации в защиту гонимых.**

**Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов
о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.**

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

**Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.
Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.**

Рина Левинзон



НОЧНАЯ НОТА

* * *

*Если бы во всем мире
люди
вдруг не захотели бы
больше умирать за родину,
может быть,
наступил бы мир.*

* * *

*Жест жалости.
Единственный посул
Спасенья, воскресенья.
Тьма светлеет,
Огонь погас, мир рухнул и уснул,
но я жива, пока меня жалеют.*

ПАМЯТИ ДАВИДА ДАРА

*Какое сиротство! Душа,
Опони
Опомнись, придумай замену,
Зажми эту вскрытую вену,
Очнись и начни с падежа,
С молчанья, с начального хода,
С какого-то райского кода,
Что все возвратит до гроша,
До этой последней потери,
До той неизбывной беды...*

*Жест доброты.
Слова и голоса.
Что близости верней, любви понятней.
Так кто-то раскрывает небеса,
так утром открывают голубятни.*

*И встанет со смертной постели
Мой друг.*

И сойдет со звезды.

ВОСПОМИНАНИЕ

(отрывок)

*Там были у нас новогодние праздники,
И снег серебрился на шубах и льдах,
в авоськах болтались бутылки и пряники,
и странно, но с жизнью мы были в ладах.*

*Трамвай утыкался в замерзшие рельсы,
и с елкой январской кружилась сама
и главная площадь.
И грейся – не грейся,
тебя пробирала до сердца зима.*

*И все было белым.
От этого, что ли
покоем сквозило, – в нем прятался страх.
И белое небо, и бело поле,
и белые птицы на белых столбах.*

НОЧНАЯ НОТА

*Ночные сугробы,
Снег валом валит.
И все ничего бы,
Да сердце болит.*

*И повод пустяшный,
И мир еще цел,
И все бы не страшно,
Да страх одолел.*

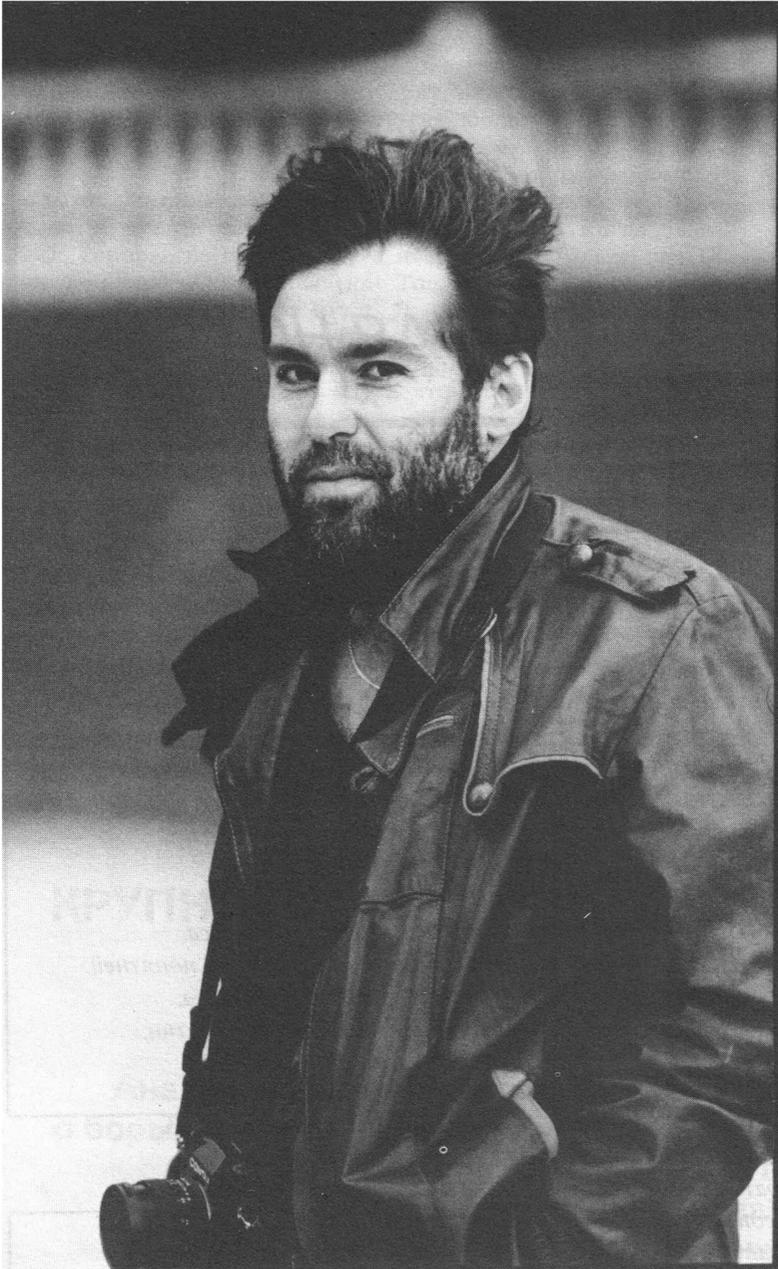
*Над брошенной крышей
Все вьется дымок.
Все вроде бы вышло,
Да в горле комок.*

* * *

*Две форели в глубокой реке,
Ты, к моей прижимаясь руке,
Я всем телом к тебе – не исчезни! –
Вон и берег уже вдалеке.*

*Сколько вместе нам плыть и плутать.
Ах, не все ли равно? Благодать
В этой близости век коротать,
Глубины не бояться и бездны.*

Дмитрий Савицкий



ЛОРА

РАССКАЗ

В последний раз я видел ее на Пушкинской. Она спешила куда-то под крупным медленным снегом. Я хотел окликнуть ее, но не решился, и она прошла совсем близко, так, что на меня пахло знакомыми духами. Снег начал уже закрашивать ее на зebre перехода, но вспыхнули лиловые уличные фонари, и она мелькнула в последний раз возле углового армянского магазина.

Всего этого больше нет: снега, падающего завораживающе медленно, чугунных лампионов, Лоры. Ночные улицы в Париже освещают витрины магазинов и террасы кафе. Со снегом

плохо. То есть в горах его сколько угодно, но то – в горах. Единственно, где мне опять померещилась Лора, это в Нью-Йорке. Был февраль, и от Лексингтон до Парк Авеню нужно было пробираться, как в Арктике, – согнувшись вдвое, ложась на ветер и карабкаясь через сугробы. Впереди мелькала знакомая скусовая шубка, снег слепил, и я не мог, при всем желании, рассмотреть спешащую женщину. Но в какой-то момент мне показалось, что это она, Лора. Фонари светили мертво и дико, как в Москве, буксовал кэб в снежной каше, вдребезги пьяный верзила пытался прикурить на ветру, терял равновесие, зажигалка гасла, и он, выругавшись, швырнул ее в темноту. "Лора!" – крикнул я против ветра, прекрасно понимая глупость и невероятность предположения. Женщина обернулась. Это была черная девушка с настороженным, но мягким взглядом. Я извинился и проскочил мимо.

И вот теперь, душным вечером в кафе, на Шатле, она сидела за соседним столиком, пила кофе и смотрела в окно. Она не изменилась. Волосы были так же высоко подобраны, обнажая шею. Та же нитка тусклого жемчуга, единственное, что осталось от матери, ссыльной пианистки, спала в вырез платья. Я помнил движение, которым она расстегивала колье: высоко поднятые локти, две шпильки в зубах, отсутствующий взгляд. У нее было свойство затуманиваться. Температура человеческих отношений действовала на нее, как дыхание на стекло. Она то теряла прозрачность, то была видна насквозь до неприличия. Гарсон принес мой коньяк и стоял, дожидаясь денег. Не глядя, я протянул ему сотню, я боялся оторвать взгляд от столика Лоры, словно я сам вызвал ее появление и любое переключение энергии, внимания, излучения могло размыть ее, как сквозняк открытой двери размывает клубы табачного дыма. Она смотрела на подсвеченные струи фонтана, но не знаю, видела ли. Боже! как мне был знаком этот поворот шеи и эта привычка, меняя фокус взгляда, перемаргивать.

Она достала сигареты и спички, постучала сигаретой по пачке, как делала это раньше с папиросой, зажгла спичку и задумалась. И это я помнил – зажечь спичку и забыть про нее. От ожога она вздрогнула, бросила спичку в пепельницу, там вспыхнул маленький пожар. "Пироманки обязаны выходить замуж за пожарников", – предел остроумия ее брата, офицера каких-то замысловатых войск. Гарсон кончил отсчитывать сдачу, отошел. Как-то не возникла мысль о том, что она делает здесь, в ночном кафе, где меломаны обсуждали только что закончившийся в соседнем театре концерт полуживого короля джаза. С одной стороны, я прекрасно знал, что она – невыезжая, с другой, – отвык от непроницаемости слова г р а н и ц а.

Продавщица цветов с кокетливой корзиночкой и измученным взглядом пробиралась между столиков. Слабый запах жасмина. Я вспомнил поворот темной аллеи после дождя, переплеск недалекой волны. "Откуда?" – спросил я. – "Из Туниса". Я купил аккуратно привязанные к черенку, собранные в букет цветы жасмина и встал. Невидимые руки уже закрывали окно.

"Комары, знаешь ли, после дождя... Лора!" – позвал я ее. Я знал, что будут слезы, что будут скомканные из разных времен слова, что мы отправимся к ней, или, лучше, ко мне; я уже подумывал, что хотя до дома и рукой подать, все же лучше взять такси.

Она, наконец, очнулась, посмотрела на меня. "Лора! — я все еще улыбался. — Это же я!" Она ткнула сигарету в кофейную чашку, жест, который я никогда не одобрял, быстро выпала на стол мелочь, и я услышал нечто нечленораздельное

по-французски. В следующую секунду она вскочила. Какое-то время мы стояли друг против друга. Я, видимо, протягивал ей жасмин.

— Послушай, — на нас смотрели со всех сторон, — давай поговорим! Я попытался взять ее под локоть. Она продолжала по-французски.

— Неужели и через пять лет ты не можешь мне простить какой-то чепухи? Она вырвала свою руку и бросилась к двери. Подскочил гарсон, но увидев, что за кофе заплачено, лишь смахнул со стола и унес пепельницу.

Я вернулся к столику. Жасмин был розового, телесного цвета. По эмигрантской привычке я перевел ее испуг на язык шпиономании, назначил ей свидание в кафе с толстым, в роговых очках резидентом, перетасовал карты и напялил на нее вуалетку и шляпу. Но Мата Хари из нее не получилась. Неужели она не узнала меня? Неужели исчезла навсегда? Какое пошлое слово! Я залпом допил коньяк и вышел на улицу.

Сухая гроза картавила над крышами. Огромный краб в аквариуме рыбного ресторана глазел на прохожих. Я остановился и рассматривая лязгающие по отражению моего лица клешни, я все понял. Конечно! Я же сбрил бороду! Бедная, затравленная Лора — в чужом городе, быть может, только что сбежавшая из отеля, от чутких товарищей по группе, со школьным запасом французского бормотания! Лора, к которой, конечно же, лениво лепились наглые мужики, и она не могла отбрызнуть их по-русски, с московским шиком... Боже мой, конечно же, я совсем изменился. Даже тогда, в России, когда я в первый раз сбрил бороду и, вернувшись домой с голым, как пятка, лицом не открыл дверь своим ключом, а позвонил — мать, отворив дверь, глядя в упор и улыбаясь, сказала: "А Саши нет. Заходите попозже".

Краб шлепал клешней, пытаюсь оттяпать мое ухо. Такой клешней хорошо стричь колючую проволоку.

* * *

Я стал бывать в кафе каждый день. Гарсоны привыкли ко мне, хозяин кивал из-за стойки. Я был смутно уверен, что наша встреча допроявится в ее голове, и она вернется. И она пришла. Было время ланча. Пьер, лысый гарсон двадцати пяти лет, выкатывал на улицу пустые пивные бочки. Она стояла в дверях, дожидаясь, когда освободится проход. Темно-зеленое, цвета дачной хвои шелковое платье. Волосы перехвачены такой же лентой. Единственно свободный столик был за моей спиной. Она, приподнимаясь на цыпочках, пробиралась меж стульев. Я встал ей навстречу. Секунду она смотрела на меня, потом повернулась и вышла.

Прошло еще две недели. Однажды я видел, как она мелькнула на выходе из метро. Я выскочил с салфеткой в руке, но ее уже не было. Толпа сожрала ее — толпа между Риволи и набережной провинциально прожорлива и самодовольна. Каждый раз попадая в ее бурление, я теряюсь. От меня не остается ничего, кроме тупого раздражения. Как сумасшедший, я пробираюсь сквозь эти ленивые волны человеческого мяса и, наконец, вырвавшись, еще долго прихожу в себя.

Итак, она или жила рядом, или... Я все чаще, сначала смеха ради, а потом, как к вполне допустимой версии, возвращался к мысли о явочном кафе. В конце концов, агенты — это наши бывшие одноклассники и любовницы. На Мальте, во время дипломатического коктейля встретил же я Валерку Ушкина, с которым прошло мое дачное детство. Я был доста-

точно пьян, чтобы в долю секунды сообразить, что мне лучше не узнавать его. Я издали любовался им. Лошанный, без тени напряжения перескакивающий с языка на язык. Его готовили на Японию, и на японца он был теперь похож — язык разрабатывает адекватные мышцы лица. Интересно, под каким паспортом он путешествовал? А тогда почему бы и не Лора? В конце концов, рутина жизни агента — не прыжки с поезда на полном ходу, но вялое посещение забегаловок и какие-нибудь незаметные кивки головой.

Подобной чушью я и питался, сидя за пивом или сотерном. Выехать просто так она не могла из-за брата. Он был "щитом и мечом", носил синие погоны и занимался вещами, враждебными научному марксизму — исследованиями парапсихологии. Я терпеть его не мог. Самоуверенный наглый тип, покрытый особым советским лоском. Любой фанерно-мраморный сезам открывался ему, стоило лишь показать краешек служебного удостоверения. В итоге, лишь бы ему насолить, не думая о том, ранит ли это Лору, я отбил у него егозливую девицу-хохотушку. Лора от меня ушла. На руках у меня осталось шаловливое девятнадцатилетнее дитя, с которым я совершенно не знал, что делать.

Тем временем уехал Симонян. Смылся на надувной лодке через Понт Эвксинский Гера Чуйков. Сема Гольдштейн остался на гастролях. На месте Москвы образовывалась густонаселенная пустыня. Я тоже подал на выезд. Как ни странно, помог мне уехать именно ее брат. Для этого мне вполне непрозрачно намекали, что уехать я могу, только не на Запад, а на Восток. Но голубоглазый капитан, начальник штатных ведьм и хиромантов, нажал какую-то кнопку и меня вышвырнуло из рая. Очнулся я в Париже. Жизнь была прекрасна и единственно, чего мне не хватало — его сестры.

В августе я подрядился отремонтировать квартиру хозяина ресторана, в баре которого я работал время от времени. Деньги были хорошие, и мы закончили в двадцатых числах. Неделю я провел в Антибах на фестивале джаза, и мечта моего детства стала явью. Я отоспался в Антибах и загорел. Вернулся в Париж первого сентября. И в тот же вечер Лора пришла в кафе. И никуда не убежала.

Счастье — слово, которого нет в моем словаре. Быть счастливым для меня еще хуже, чем быть мертвым. Точнее, это быть прижизненно мертвым. Опошление всего наилучшего в жизни, вот что такое счастье. В том, как люди произносят это слово, я вижу капитуляцию. Для меня жизнь состоит из восхитительно острых углов. Сказать *счастье*, все равно, что прокатить по моей жизни пятитонный асфальтовый каток. Когда меня спрашивают — "Ты счастлив?", — меня начинает тошнить.

Мы сняли двухкомнатную квартирку возле Ботанического сада. Я все же сохранил свою крошечную студию в Маре. Она работала моделью у Анжело Тарлацци и в день получала столько же, сколько я зарабатывал за месяц уроками и стоянием за стойкой бара. Я ни о чем ее не расспрашивал. Лишь в первую ночь я попытался задать два-три синтезированных устойчивости вопроса. Она бродила по моей студии, рассматривала безделушки на столе, открыла дубовый поставец, плеснула себе порто, ушла в ванную и звякнула оттуда пробкой флакона.

— Только бедные люди, — сказала она, — бедные и одинокие имеют так много дорогих вещей...

Не то, чтобы меня это задело. Вовсе нет. Но несколько вопросов уже давно толклись на выходе. Она не хотела отве-

чать. Я не настаивал. К чему пугать судьбу? Гораздо труднее было привыкнуть говорить с ней по-французски. От русского она наотрез отказалась. Говорила она гораздо лучше меня, и я не удивляюсь. Она была полна тайничков и тайников. Я не удивился бы, узнав, что она, забавы ради, выучилась иглоукаливанию, ядерной физике или карате.

Время от времени она улетала. В Рим и в Нью-Йорк, в Токио и Амстердам. И хотя моей ревности было совершенно нечем поживиться, я придумывал idiotские, на уровне рисованных картинок, истории. Так, я совершенно серьезно подозревал ее в работе на министерство брата. Она была так хорошо вставлена в западную жизнь, так искусно вела дела, двигалась, говорила, покупала тряпки или подавала милостыню, жила с таким отсутствием комплексов, что я уверился, что она выпущена на волю не почирикать, а с серьезными, высшего класса, целями.

Жизнь кишит совпадениями, стоит лишь этого захотеть. Взрыв бомбы в Венеции совпал со съемками на горбатых мостах. Похищение генерала Ллойда — с ее выступлением в Мадриде. Она была в Лондоне во время захвата ливийцами французского самолета, и в Токио — во время покушения на премьер-министра. Хитроумно вырезанные составные картинки удачного терроризма каждый раз входили в паз ее замысловатого отсутствия. Но мысли эти обуревали меня лишь когда ее не было. Стоило ей вернуться, заполнить воздух квартиры теплом, духами, телефонным чириканьем, музыкой — я сдавался. Мои подозрения были пост-советской паранойей. От долгого сожительства с социальным прогрессом душа моя была взрыта страхом и разрыхлена. Залечить, заклеить пластырем эту, в сторону прошлого повернутую сторону души моей, не было никакой возможности. Ампутировать, — думал я одно время...

Новый год мы провели на берегу океана, в Нормандии, вдвоем. Дом, уверяла она, принадлежит ее родственникам. Я поморщился на это заявление, но сдержался. Стеклопанная стена выходила на безлюдный пляж, волны были зимние, черные, с шепелявой пеной. Бакланы сидели на мокрых кочках. Отражение каминного огня плясало на стекле, на вислобрюхих полуживых тучах. Однажды, сидя высоко на подушках с чашкой горячего вина, она сказала: — "Ты знаешь, я иногда не понимаю, почему я с тобой". И, увидев мое вспыхнувшее лицо, скороговоркой добавила: "Ты не бойся, я просто не понимаю". "Лора.., — начал я и запнулся, это имя она мне запретила, — неужели нужно все понимать, всему давать имя? Незазванные чувства проживают свободнее."

Мы сидели в темноте. Лишь слабое пламя дрожало в камине. Фары дальней машины медленно пересекли комнату. Я взял ее руку. Она была вялой и холодной. Близко раздавался смех. Лора потянулась и зажгла лампу.

— Займись камином, — попросила она, — я думаю, к нам гости.

Это была веселая, изрядно пьяная компания ее друзей. Они прикатили из Сан-Валери и привезли с собой ужин. Лора поставила старую пластинку с увертюрой из "Тристана".

Они были чудные ребята. И Фредерик, и Пьер, и Соланж, и маленькая Валери. Толстяк Пьер (никогда в жизни я не видел худого Пьера) лежал в ногах у Лоры, хохотал так, что с балок сыпалась древесная труха и, не глядя, швырял в огонь косточки маслин. Соланж выпрашивала меня про русскую душу, а Фредерик и маленькая Валери исчезли в верхней спальне. Я слушал океан и не слушал Соланж. Мне хотелось

выть. Опыление первых месяцев с Лорой кончалось. Как когда-то в Москве, я опять чувствовал, что если не сделаю решительного шага, она вновь исчезнет. В Москве был бред, полная чушь, катастрофа. Что мог я придумать теперь, через годы? Соланж кончила мастерить самокрутку гашиша и пустила ее по кругу. Я встал и вышел.

Тучи ушли и низкое небо было полно звезд. С трудом отыскал я Скорпиона и Стожары. Кто-то положил мне руки на плечи. Я повернулся. Это была Лора. Она шептала что-то и, впервые, мне слышалось — по-русски.

Начиная с апреля она стала исчезать. Это был обязательный уик-энд в горах, куда она не могла меня пригласить, куда ей и самой не хотелось ехать, но это было важно для работы. То двухнедельный показ мод на Реюньон и, конечно, ни в одном журнале я не нашел и строчки об удивительном шоу для скукающих миллионеров. Потом были Филиппины, откуда она вернулась бледная, без намека на загар и, наконец, Лос-Анджелес, откуда она звонила три раза и умоляла не волноваться: она задерживается.

Ребенку было ясно, что ее исчезновения не были связаны с работой. В конце концов были неоспоримые детали. Когда это действительно была ее работа, в доме появлялись новые сапожки, юбки, гребенки, шали — вся сказочная экипировка дуры-золушки. Несколько раз она заикнулась о том, что весь багаж теперь отправляет фирма. Но самое серьезное случилось перед ее выступлением в Лондоне. Ни за что на свете я не опустился бы до того, чтобы рыться в ее бумагах. Она сама виновата. Укатив в Руаси, она забыла на столе паспорт. Я никогда не видел ее документов. Паспорт был на имя Инес Гюмо. Фотография была Лоры, той Лоры, которая вбежала под дуло объектива с русского мороза — раскрасневшаяся, дышащая снегом. По паспорту получалось, что она на три года моложе. Что ж, она всегда выглядела моложе своих лет. Я сидел, рассматривая эту подделку, когда раздавался звонок — она вернулась за паспортом. Я протянул ей паспорт через порог и сказал по-русски: "Сделано высший класс. Поздравь при случае брата." Она покрутила пальцем у виска и исчезла.

То, что ей приходилось рисковать, быть может, переводить нелегально какие-нибудь бумаги или фотоленки, выводило меня из себя, но, с другой стороны, заставляло меня любить ее все сильнее. Да, да, любить! Я сдался этому слову. Если бы я мог хоть однажды поговорить с нею начистоту, сорвать с нее эту idiotскую маску, вымолить у нее минуту доверия. Если бы... Что дальше — я не знал. Может быть, я заставил бы ее измениться. Не может же она заниматься этим всю свою жизнь. Фатальный риск покинувших организацию хорошо известен, но я что-нибудь придумал бы. Мы убежали бы куда-нибудь, где их нет. Я понимал, что они присутствуют повсюду, но ведь можно же найти географическую складку, впадину, остров или горный хребет, где их зудение не столь назойливо.

Или — наоборот — скандал. Гласность — лучшее оружие. Но тогда, Боже, я просто начинал сходить с ума: ее замучают допросами, заставят кровоточить ее память и, что вполне вероятно, могут одарить несколькими годами заточения. Я ведь не знал степени ее вовлеченности.

Посоветоваться было не с кем. Разговора с одним бывшим москвичом, специалистом по ржавому железному занавесу, не получилось. Я знал, что он работает кем-то вроде консультанта у хозяев здешней контрразведки. Но разговора в эту сторону подтолкнуть не удалось, а сам я толком не мог объяснить, в чем дело. Я все еще боялся выдать Лору.

Все произошло само собой. Я выследил ее. Она гуляла самым пошлым образом под ручку с толстым типом, явно из посольства. Это был парк Монсо, советская канцелярия находилась в двух шагах. Даже через шесть лет после отъезда я не мог не узнать ни этих партийных брюк, ни этой привычки не двигаться, а разгуливать в разнузданном параличе. Шея выдавала его с головой. Я помнил прекрасно эти вечно напряженные красные шеи служителей культа.

Решение созрело в одну секунду. Я ел мороженое, полу отвернувшись от них. Веселый колыт, купленный у ресторанного певца за сухую чепуху, рыбкой лежал в моем кармане. Мороженое таяло. Я должен был взять это на себя. Я должен был разорвать ее пути. Народу вокруг было много. Как раз то, что надо. Играли дети, судачили дамы, одиноко, положив подбородок на трость, сидел старик. Я подошел к ним сзади. Пахнуло ее духами.

— Лора, — тихо позвал я и, как я ожидал, первым повернулся он. Трех пуль ему не хватило. Он получил весь магазин. Он лежал на садовой дорожке и песок удивительно быстро впитывал кровь. Я смотрел на него и улыбался. Такие носки нельзя найти нигде в мире, кроме ГУМа. Меня держали за руку, я доедал мороженое. Лора сидела на корточках над трупом и ее лицо, повернутое ко мне, было в ужасе. Она еще не знала, что была свободна. Я спас ее.

“Социалисты отменили смертную казнь”, — вот первое, что мне сообщил дурак-адвокат. По его идее, я должен был радоваться. Я потребовал свидания с офицером ДСТ. Адвокат не удивился, и на следующий день передо мною сидел приятного вида молодой человек, который мог бы все же немного лучше изъясняться по-русски. Я, должно быть, волновался, и моя история в первый день выходила путанно. Полностью

и разборчиво мы записали ее на четвертый день, и господин Жером (фамилии, конечно, не было) уехал. Я стал ждать.

То, что французы решили не предавать гласности действительную подоплеку дела, стало ясно еще на предварительном следствии. Что ж, я им не судья. Быть может, мой выстрел (мои выстрелы) выбил из звена агентуры человека, о котором они предпочитали молчать. Быть может, им было невыгодно поднимать политический скандал. Лора не была арестована. Ей разрешили видиться со мной. Я молчал. Я слишком устал, чтобы говорить и объяснять. Она сказала, что после суда уедет в Америку, что не может оставаться в Париже. “В Америку?” — думал я. О, я знал, где эта Америка...

Спектакль суда был проигран по идеальному сценарию. Ни одному намеку на действительные события не удалось проскочить наружу. Прессы почти не было. Я получил пятнадцать лет. Мотив убийства — ревность. Жертва — пожилой коммерсант из Венгрии. — Ревность — да! — хотелось крикнуть мне, но ревность к кому?

Несколько вопросов иногда мучают меня. Знал ли я, что ты вовсе не Лора? конечно, милая, знал. Ты была Инес Гюмо и то был твой паспорт. Был ли я в состоянии психически ненормальном, навязывая тебе чужое прошлое, разговаривая с тобой по-русски, называя тебя не твоим именем и ожидая от тебя того, что ты не могла дать? Не знаю. Зачем я это сделал? Любил ли я тебя? Да, любил. Была ли ты похожа на настоящую Лору? Не знаю. Потому что я не знаю, была ли настоящая Лора...

Париж, 30 октября 1983 г.

КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный литературный, общественно-политический и религиозный журнал

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ

1984 — юбилейный год журнала. Ему исполняется 10 лет. В связи с этим читателю, ни разу не имевшему абонемента, предоставляется возможность в течение всего юбилейного года оформить **удешевленную** годовую подписку (4 номера) на КОНТИНЕНТ. Всего лишь за ДМ 30.—, что на 25% дешевле обычного годового абонемента (ДМ 40.—) и на 37,5% — обычной розничной цены (ДМ 12.—).

Ваш абонемент, дорогой читатель, — одновременно и моральная поддержка, и признание, и пожелания дальнейших успехов «юбиляру» — крупнейшему журналу в русскоязычной прессе эмиграции.

Редакционная коллегия КОНТИНЕНТА:

Василий Аксенов, Раймон Арон, Ценко Барев, Джордж Бейли, Сол Беллоу, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Ежи Гедройц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Михайло Михайлов, Эрнст Неизвестный, Амос Oz, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем, Пьер Эмманюэль.

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

На страницах журнала — современная проза, поэзия, публицистика авторов Восточной Европы

Склад и экспедиция
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstrasse 28 · 8000 Munchen 40 · West Germany

ВНИМАНИЕ! ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Литературная консультация, литературная запись мемуаров, редактирование, корректура, переводы на английский язык, уроки русского языка.

Перепечатка на машинке.

Оплата по договоренности.

Просьба звонить по телефону:
201-432-9636 после 7 ч. вечера

В четвертом номере “Стрельца” в подборке стихотворений Марины Темкиной по вине корректора допущены следующие опечатки: на стр. 23, в стихотворении “В горах” первую строку следует читать: *К утру живот небес засветится...* В стихотворении “Трудности апреля” вторую строку во второй строфе следует читать: *Задевает полый, вездесуща...*, на стр. 24, в стихотворении “Страсти по столичной речи” первую строку следует читать: *Саечка московская с усмешкой...*

Редакция журнала приносит автору искренние извинения.

Константин
Кузьминский



Сара
Изис
и ее дитя

Ответила принцесса Изис:
– Ах, у меня жестокий кризис!
(Карл-Людвиг Опиц)

1
 чары инги романы-чай
 что сидела полыхая под шатром
 не она журчала речницей
 тело скрытое чадрой
 а в шальварах черви черные
 как в тутовнике шуршат
 ножки белые точеные
 предлагали шуры-муры
 мурло ее мамыши
 напомнит нам закат
 и нос ее папыши
 оранжев и покат
 инга инга половинка
 капли кровушки в полу
 не растет твоя шерстинка
 дырка черная в полу

тундала дундала
 баба в бубен дунула
 шалью черною махнула
 белу ножку протянула
 цыгане шумною толпой
 отправились на водопой
 и впереди идет с кнутом
 старик неся мешок с котом
 и чернбровая цыганка
 просторна как в лесу полянка
 на ней зеленая трава
 и предлагает нам товар
 и радда лошадинова смеется
 ей в опере цыганской не поется
 и на ночь у овчины остается
 и страстно до мужчины отдается

2
 поймали конокрада
 и вбили в жопу кол
 цыганская отрада
 а обликом хохол
 смешай в макитре травы
 и ночью за врата
 иди на них потравой
 поганых их отав
 каждую овцу
 ударь по лицу
 каждую корову
 ножом поковырай
 пусть их млеко
 алым станет
 пусть их веко
 не моргает

пусть их мясо
пахнет псиной
точат лясы
под осиной

варят мертвый пуп в котле
и копаются в земле

3

цыц моя цыганка
цыцку дай дитю
в шубке ты цыгейковой
я тебя хотю

алыми чувяками
пляшешь по росе
желтыми червонцами
брякаешь в косе

муж твой грозен брови
хмурит по ночам
хочет теплой крови
рукоять меча

под шатром зарежет
под сосной зароет

4

кони мои кони
воронее кос
молится иконе
где с горбинкой нос

и дитя в подоле
ручками восплечет
и пойдет по полю
странницей вопящей

оставляя знаки
алые как маки

5

между речницей и гомелем
разбивали табор свой
и она плясала голая
звонко гукала совой

ее косы стали белые
ее груди почернели
и глаза закрылись бельмами
муж же мучим почечуем

все сидели в шальварах плисовых
на боку ее телеги
и дитя в крапиву писало
потрясая телесами

а старуха с карт колодю
все гадала и гадала
и гадюка подколодная
из глазницы вылезала

и росла трава железная
там где ноги ее прыгали
и играла на жалейке
и еще на флейте пиколо

в бубен били ее ягоды
ягодицы и исподница
потому что и в ее годы
все была она колодницей

а дитя в колодце плавало
а дитя в колодце плакало

6

унеси меня синяя тройка
я ему сарафаны оставляю
только слышится голос мне тонкий
за железною ржавою ставней

только тянутся тонкие ручки
мельтешат загорелые ножки
и на сердце отложится рубчик
и не видеть мне света в окошке

как ему я поверила знаю
он на черном коне проносился
и судьба неминучая злая
чтобы ночью мне мальчик приснился

и скрипели телеги немазаны
по полям и пылили и пели
только черными голыми вязами
тополя у дороги глядели

и качалась слепая воровка
и вокруг шеи обвилась веревка

МОСКВА СОВЕТСКАЯ

Герой одной из повестей Леонида Ржевского говорит, что за каждым человеческим обликом, каждым поступком и каждым случаем стоит некий неисповедимый рок. Не этот ли самый рок распорядился таким образом, что и автор этой книги, человек на редкость русского склада и душевной направленности, оказался вынужденным о любимой стране России писать далеко от нее на чужбине? Но замечательнее всего, что, творя за границей, он пишет так, словно никогда своей страны не покидал. Как признается Ржевский, он не мог писать о России цветом только "черно-белым с осью", рассекающей ее на "до" и "после". Да и не хотел этого, потому что любил ее и "до" и "после".

Леонид Ржевский — москвич, и тематически все шесть повестей сборника "Звездопад" связаны с его родным городом Москвой, в которой прошла юность и студенческие годы писателя. В "Сольфа Миредо", к примеру, — Москва ранних послеоктябрьских лет, в которой романтика дореволюционного, патриархального, чеховского города (недаром героиню повести зовут Мисюся) заливается грязью "нового мира", где царят собакоподобные булгаковские Шариковы. Близкие друг к другу по материалу, "Сентиментальная повесть" и "Двое на камне" повествуют о литературно-студенческой Москве роковых тридцатых годов, о времени, сделавшем в советском государстве Ложь мерилем всех вещей, а людей — невольными пособниками и нередко участниками нечеловеческих преступлений. Москва предвоенная связана с повестью "Клим и Панночка", герои которой участвуют в захвате после договора с Гитлером Восточной Польши. "Звездопад" — Москва военного времени и "Паренек из Москвы" — это уже пятидесятые годы. Нет лишь последнего тридцатилетия, однако показанные в повестях Ржевского предшествовавшие десятилетия

владычества Идеологии правдиво и точно определяют ее лицо.

Большевики с ложью — о мире, земле и воле — пришли, благодаря лжи утвердились и благодаря ей же мучают народы огромной страны вплоть до наших дней. Но как же все начиналось? В "Сольфа Миредо" без нажима, методом неброской детали, штриха, спокойного описания передается то, что стало сутью эпохи. Кошмар не в том, что рушится старый быт, наступает голод, волна "подвальных" жильцов затопляет в потоке уплотнения особняки и квартиры состоятельных людей. Беда в том, что мир, в котором уничтожена вера в Бога и доверие людей друг к другу, перестал быть миром настоящим и превратился в мир фикций. Символична слепая бабушка, которая с радостным умилением слушает, как внучка описывает красоту икон, с которых серебро и жемчуга давно содраны и проданы на рынке. Символичен рассказ бабушки о том, как власти обманули верующих, пообещав, что если те сдадут достаточно золота и серебра, то Храм Христа Спасителя пощадят. На сборные пункты были отнесены пуды драгоценностей, а Храм все равно взорвали.

Связанные общим местом действия и включенные в цепь общей временной последовательности, повести читаются как единое произведение. За окаянными двадцатыми органично и естественно наползает тридцать седьмой год. Шквал затопивших страну проработочных собраний, доносов, арестов и смертей проецируется в книге на судьбе нескольких московских семей. Страх калечит душу и растворяет личность. Как пишет сам автор, "в сталинскую дьяволиаду все были жертвами, не было виноватых". Да, можно понять состояние души героя, молодого ученого-литературоведа, который стоит на собрании перед выбором — защитить травимого или пропасть самому? "Какие странные, неощутимые, как атмосферное давление, но прочные пути все во мне связывали тогда..." — с горечью отметит он сам. Жизнь потеряла всякий смысл, из нее все легко выкорчевывается — дружба, любовь, надо всеми постоянно будто что-то висит, как топор.

Автор не разрабатывает глубоко, он только касается важнейшей темы — кто виноват, темы жертв и палачей. Они проходят смутными тенями — все

эти парторги, комиссары, политруки с пришибевскими лицами с постоянной готовностью на них — донести, очертить, предать. Убедительнее других факультетская дамочка из ответственных, которая предупреждает героя как бы походя, полунамеком: "Кафедра и парторганизация крепко идут тебе навстречу... И если отвернутся — очень почувствуешь..." В "Климе и Панночке", пожалуй, лучше, чем во всех других повестях, показан этот, как называет автор, "всеоглупляющий напор политических няnek". Герой повести, простой мужик, лошадиный Клим в порыве откровенности говорит об их тупой бдительности: "Краденая власть всего боится". И это воистину так.

Студенческая московская молодежь пятидесятых несет, по мысли автора, искры подвига, самопожертвования. Определенная (далеко не вся) часть их глубоко задета венгерскими событиями 56-го года. Носительницей протеста выступает девушка, что, впрочем, вообще характерно для повестей Ржевского, который испытывает особый пиетет перед русской женщиной, "готовой в отрицании подлости пожертвовать всем, даже теплом любви". Молодые люди, обрисованные с симпатией и стремлением их понять, гораздо сдержанней, скептичнее. Они истинные дети своего времени и умеют смотреть на мир без иллюзий. Приехавший в заграничную поездку "паренек из Москвы" Валерий из одноименной повести, бросает о Западной Европе фразу, которая о многом может сказать читателю: "Здесь через пару десятков лет должен стать музей западноевропейской культуры и быта досоветской эры человечества".

В заключение — о стиле повестей, который оказался неоднородным и неравноценным. Леонид Ржевский пишет о себе, что он "водит тряпочкой с живой водой памяти по засвеченным негативам прошлого". В ответ на это словами самого же автора хочется спросить: "А проще не можете рассказать? Без этих ваших словесных росчерков и речитативов?" Лучшие отрывки повестей бесспорно свидетельствуют о том, что автору это под силу.

Майя Муравник

Леонид Ржевский. Звездопад, Московские повести. США, Анн Арбор, "Эрмитаж", 1984.

ВЕСТНИК РХД № 141

Выходящий в Париже под ред. Н.А. Струве "Вестник Христианского Движения", бесспорно, наиболее яркий и интересный журнал, посвященный как, в первую очередь, религиозной тематике, так и вопросам истории, культуры, литературы. Его роль не только здесь, но, что еще важнее, — в России велика чрезвычайно: он представляет современное православие стоящим на уровне задач, выдвинутых нашим религиозным возрождением еще в "серебряном веке".

Высланные большевиками философы, богословы, религиозные публицисты продолжали и здесь, на Западе, ту работу, которая является залогом новой христианской жизни у нас на родине. И "Вестник" естественно наследует этой традиции.

Первые десятки страниц нового 141-го номера "Вестника РХД" посвящены скончавшемуся 13 декабря 1983 года протопресвитеру Александру Шмеману. В лице о. Александра православное богословие потеряло выдающегося исследователя, толкователя, мыслителя, редкостно совмещавшего в своем творчестве новизну и ортодоксальность, глубину и тонкую простоту изложения, метафизичность мышления и отсутствие снобизма в подходе к самым животрепещущим темам.

В своих жгучих и ярких многолетних проповедях по радиостанции "Свобода" о. Шмеман раскрывал российский православным сакральный смысл

Церкви. Он поддержал "Письмо Патриарху Пимену" А.И.Солженицына. В письме от 14 мая 1972 года Солженицын писал Никите А. Струве: "Недавно в одну из ночей я услышал его (о. Александра — Ю.К.) беседу о моем письме Патриарху, и был совершенно растроган: что именно мой любимый проповедник одобряет меня. Это и было мне духовной наградой за письмо и (для меня) окончательным подтверждением моей правоты"...

В разделе "Богословие и философия" продолжается ставшая уже традиционной для "Вестника" публикация богословского наследия о. Сергия Булгакова, печатаются "Заметки о церкви" прот. Иоанна Мейендорфа и т.д. Чрезвычайно оригинальной представляется статья замечательного авиаконструктора-эмигранта И. Сикорского (1889-1972) "Эволюция души". Когда, так сказать, "естественник", "технократ" говорит о религиозном, о вере — это всегда особенно интересно. Тотальная позитивистская пропаганда прочно увязала в современном сознании "науку" с материализмом, игнорируя как современные научные данные, так и глубинную личную религиозность большинства великих ученых. Сикорский — в целом сторонник эволюционной теории, но понимает ее не позитивистски.

В литературном отделе "Вестника" вслед за моей небольшой стихотворной балладой "Памяти алапаевских узников" (эпиграфом взяты замечательные предсмертные строки князя Вл. Палея:

*Все время за окном проходит часовой,
Не просто человек, другого стерегущий),*

— идут два новых очерка А.И.Солженицына: "По донскому разбору" и "Фильм о Рублеве".

Солженицын пересмотрел "Рублеву" в Вермонте в 1983 году — через 17 лет после того, как фильм был снят. Этот срок — для кино — "морально" и формально очень значительный: киноленты быстро устаревают. И писатель видит в "Рублеве" то, что прежде просто не замечалось: антиклерикализм, мировоззренческую клишированность, кокетливую жестокость.

В "Литературном архиве" "Вестник" начинает публикацию лекций Е.Замятина о художественной прозе (1920 г.). Во вступительной вводке Н.А.Струве точно заметил: "Значение Е.Замятина (без которого не было бы Орвелла) непререкаемо: он первый, после слу-

чившейся революции, обратил внимание мира на ее порочную сущность".

Чрезвычайно знаменательной представляется полемика проф. Эткинда с Н.Струве "О мировоззрении А.А.Фета", выходящая, собственно, за рамки проблемы о религиозности Фета и касающаяся духовных глубин и источников творчества.

"С моей точки зрения, — пишет проф. Эткинд, — уровень художественного таланта независим от степени религиозности поэта. Он может быть православным, иудеем, лютеранином, деистом, атеистом — не все ли равно? Был бы поэтом". Это характерно для современной литературоведческой науки: самоценность текста для нее — "секулярна", мировоззрение автора — лишь исторический реликт, "предмет исследования" в лучшем случае... Но за этой "свободой" часто чуть ли не на "подсознательном" уровне стоит обычная идейная схема, на которую Струве остроумно обращает внимание, цитируя Эткинда ("Фет /.../ создал, как и Толстой в прозе, истинно-демократическое понятие внутреннего человека"). "Что это странное понятие означает вообще — замечает Струве — и в применении к Фету в частности, пусть нам объяснит проф. Эткинд. Но этот неприменный кивок в сторону демократии по поводу поэта, который демократию отвергал и которого революционные демократы ненавидели, еще один пример советского литературоведческого шаблона, обязывающего всякого писателя быть хотя бы вольнодумцем и демократом, а того лучше, атеистом и материалистом".

Исключительно насыщенно и многогранно интервью "Вестника" с Валентиной Александровной Зандер — одной из старейших членов Русского Студенческого Христианского Движения. Эти развернутые ответы — даже и не интервью, собственно, а чуть ли не род своеобразной автобиографии, мемуаров (заставляющих вспомнить новые книги Волкова-Муромцева и Кривошеиной в основанной А.И.Солженицыным "Всероссийской Мемуарной Библиотеке"). Русская история, образ дореволюционного россиянина тотально оболганы пропагандой, поэтому каждое честное непредвзятое свидетельство — драгоценно. В России существовал, если можно так выразиться, "тип" гражданина (вне за-

висимости от социального положения, "классовой" принадлежности) чрезвычайно для мировой цивилизации высокого духовного уровня. Именно поэтому коммунистам и потребовалось истреблять миллионы во всех слоях общества,

чтобы укрепить свой режим на деградирующем народе.

"Вестник РХД" свидетельствует, что русская духовность, "ментальность", культура — не уничтожены. И они не просто "ждут своего часа", а активно

работают (и здесь и в России) на дело спасения родины, столь важного (согласно словам Богородицы в Фатиме, а теперь вот и в Югославии) для всего человечества.

Ю. Кублановский

ИЗДАТЕЛЬСТВО "SOURCE" («ИСТОЧНИК»)

НАЧИНАЕТ ВЫПУСК АНТОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая книга "Великие Посвященные" Эдуарда Шюре выйдет из печати в июле этого года. В книге освещены вопросы появления человеческих рас и происхождения религиозных систем, а также рассказывается о жизни Рамы, Кришны, Гермеса, Моисея, Орфея, Пифагора, Платона, Иисуса.

"Это были могучие формовщики умов, энергичные будители душ, спасительные организаторы обществ. Жившие только для своих идей, всегда готовые на всякое испытание и знавшие, что умереть за Истину есть величайший и наиболее действенный из подвигов, они создали науки и религии, литературу и искусство, и их живая сила до сих пор питает и живит нас. И если поставить наряду с такой могучей действительностью стремления позитивизма и скептицизма нашего времени, что могут они принести человечеству? Создать сухое поколение без идеала, без высшего света и без веры, не признающее ни души, ни Бога, ни вечности, не верящее в будущность человечества, без энергии и без воли, сомневающееся в самом себе и в свободе человеческой души..."

Эдуард Шюре

Объем книги — прибл. 320 стр. Цена — \$22.50
В Антологию войдут также произведения Штайнера, Фламариона, Рамачараки, Безант, Блаватской и др.

Предварительные заказы на книгу "Великие Посвященные" просьба посылать по адресу:

"SOURCE"
L.BROOKS 34 East Av., Middletown, N.Y. 10940

Подробнее ознакомиться с новым
"НА" можно заполнив купон:

**ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»
ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):**

ИМЯ И ФАМИЛИЯ _____

АДРЕС _____

продление подписки

Цена подписки на год в США — \$ 40
на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14
в Канале — \$ 45 (американских)
в других странах — \$ 65
Авиапочтой за океан — \$ 145

Заполните и пошлите бланк с чеком или мини-ордером по адресу:

The New American
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
80 Grand Str.,
Jersey City, N.J. 07302

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.
Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев
Воскресное издание — только 35 дол. в год
Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Елена Тудоровская

Правильно построенный мир

Записки о романе М. Булгакова

«Мастер и Маргарита»

1. Воланд

Не иссякает интерес к прославленному роману. Издание следует за изданием, статьи критиков за статьями.

Укажем хотя бы на библиографию, приложенную к диссертации Катерины Дульбе.¹ И это очень хорошо, так как надо увидеть это огромное произведение с разных сторон, прежде чем делать какие-либо общие выводы. Чем больше точек зрения, тем лучше.

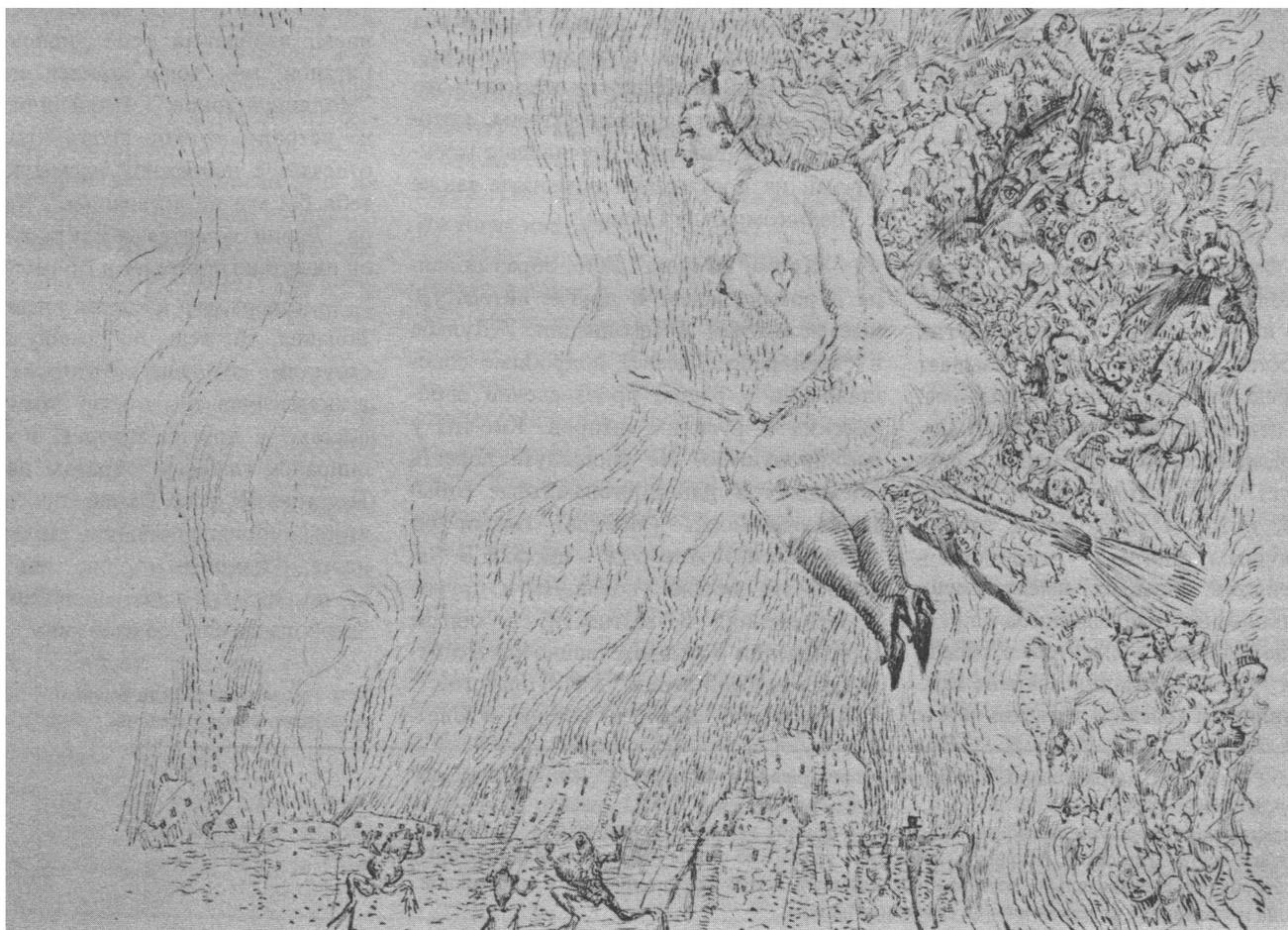
Исследователи, изучающие роман, большей частью ищут литературные, исторические и прочие соответствия и источники романа, но редко задаются целью изучить, как же использовал автор эти источники, как видоизменил их. А пришла пора дать себе в этом отчет.

Критики прежде всего склонны рассматривать проблемы добра и зла в романе, их борьбу... В этой связи на первый план изучения выступает фантастическая фигура Воланда, Сатаны, Повелителя зла. Он не герой романа: нечеловеческий, фантастический персонаж, как правило, не может выступать в качестве главного героя художественного произведения. Но именно вокруг него развиваются все события романа, все поведение его героев, даже вставной

роман о Понтии Пилате: его первую главу рассказывает именно Воланд, утверждая, что был очевидцем событий.

Итак, прежде всего надо уяснить себе — что же такое Воланд. Почти никто из читателей и критиков не сомневается, что мессир Воланд — это дух зла, Сатана. Но ведь образ Сатаны вовсе не однозначен; он всегда имел много обликов в глазах людей, в разные периоды истории, для разных народов, слоев общества и религиозных течений. На первый взгляд, в романе Сатана очерчен вполне определенно. Прежде всего, ошутима его связь с образом Мефистофеля Гете, как это подчеркнул сам автор эпитафией к роману: "Так кто же ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо" (Гете. "Фауст"). Это — слова Мефистофеля из его первого разговора с Фаустом. В этой реплике Мефистофель мог и лукавить, и иронизировать. Но что хотел сказать своим эпитафией Булгаков? Каковы были его намерения, и выполнили ли он их? что получилось? Это самое

¹ Катерина Дульбе. "Некоторые параллели к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Докторская диссертация, защищенная в 1970 г. и опубликованная в Вашингтоне в 1974 г.



Борис Свешников. "Маргарита", рисунок, 1968

важное. Все принимают без критики: Воланд — Сатана, и все тут. Он дух зла; как говорит Мефистофель, продолжая свою реплику:

...Все, что злом ваш брат зовет, —
Стремленья разрушать, дела и мысли
злые,
Вот это все — моя стихия.
(пер. Н.Холодковского).

Именно так — как зло, как разрушительная сила — представлен Воланд в одной из последних работ о романе — в работе советского фольклориста А.А. Горелова. Работа эта сделана на более общую тему.² Но большая часть ее посвящена именно "Мастеру и Маргарите". Для меня, по моим интересам, она важна, так как устанавливает связь романа с большой областью народного творчества, что существенно для общего понимания романа.

В работе советского ученого речь идет о "демониаде" романа и об его литературно-фольклорных определителях. Автор прослеживает ряд связей: Воланд Булгакова — Мефистофель Гете — немецкие народные книги и средневековый полуфольклор — фольклор. И прежде всего он рассматривает "проблему художественных реминисценций из Гете: "Отзвуки трагедии Гете явственно слышны в фантазиях романа". "В первую очередь это отголосок темы Мефистофеля в теме Воланда и чародейства" — внешность Мефистофеля, его появление в облике пуделя (у Булгакова изображение пуделя играет определенную роль); "Фауст" Гете отразился и на деталях полета Маргариты на шабаш, в скачке на волшебных конях и других подробностях. Далее, Горелов указывает на непосредственную "зависимость романа и от немецких литературных памятников средневековья, к которым восходит "Фауст" Гете". Перечисляет те подробности, которые восходят к немецким народным книгам, — множественность нечистой силы, ее имена, внешность дьявольских приспешников и пр.

Существенным моментом в работе Горелова — что представляется мне важным — является мысль о том, что черты

образа Сатаны из немецких народных книг "ближе всего к фольклорным быличкам, бывальщинам, легендам, преданиям. "Фольклорные рассказы о Сатане — это не сказки, а бывальщины и относятся к "несказочной народной прозе".³ Другими словами, они выдаются за правду (во имя этой правды людей сжигали на кострах!); мало того — весь образ Сатаны и все о нем известное построены как рассказ о действительно существующем. Эта известность и узнаваемость и помогли фольклорному Сатане войти в литературу на равных правах с "реальными" литературными персонажами. Образ Сатаны в литературе всегда претендовал на реальность. Это и помогло Булгакову создать своего литературно-фольклорного Сатану с такой силой убедительности, что никому в голову не приходит отрицать его правдоподобие. Никто не удивляется, что его появление в романе изображено и воспринимается как реально бывшее, доставляет эстетическое удовлетворение своим правдоподобием.

Итак, предшества "Фауста" — полуфольклорная традиция немецких народных книг и народной драмы ("Кукольная комедия о "Фаусте"); это интересно потому, что роман Булгакова явно питался ими и непосредственно, минуя Гете. В особенности относится это к тем чудесным происшествиям, которые по воле Воланда, случились с москвичами на протяжении романа, а также к "Великому балу Сатаны".

Кроме "Фауста" Гете, образ Воланда в романе имеет и другие литературные источники и ассоциации. К.Дульбе в своей работе делает подробные сопоставления с рядом произведений европейских и русских авторов. Кое-что у нее пропущено. Не упомянута повесть "Венедиктов или достопамятные события жизни моей." (Москва, "Пятый год республики"). Автор ее — проф. А.В. Чаянов.⁴ Но можно упомянуть и другие произведения. В частности, в образе и поведении Воланда слышно много отзвуков из "Дон Жуана" А.К. Толстого.

Конечно, диалоги Сатаны и Свет-

лых духов в этой "драматической поэме" тоже восходят к "Фаусту" (к разговору Мефистофеля с Господом), но использованы они Толстым очень вольно, в собственном философском осмыслении автора поэмы; многое из этого воспринято Булгаковым. Это видно, например, из разговора Воланда с Леви-ем Матвеем. Это литературные забавы Сатаны; так и кажется, что он говорит пятистопным ямбом. Автор воспроизводит разговоры Сатаны с Небесной силой не столько по Гете, сколько по А.К. Толстому — с издевательски-философским осмыслением зла. Воланд говорит Левию: "Свет не мог бы существовать без тени" (у Толстого:

И если б черта не было на свете,
То не было бы и святых),

на что Левий отвечает: "Я не буду спорить с тобой, старый софист" (сравни у А.К. Толстого, где Духи говорят:

Но беса умствования ложны...).

По контрасту с речью Левия Матвея, речь Воланда в этой сцене — сниженная, цинично-насмешливая, полная лукавого мудрствования. Он насмехается над Леви-ем, изображая себя "каноническим" Сатаной, как тому хочется его видеть. "Молящим тоном" Левий просит Воланда устроить судьбу Маргариты; Воланд отвечает с небрежной насмешкой: "Без тебя бы мы не догадались". Иначе говоря, Левий ломится в открытую дверь; он ничего не понимает в Воланде.

Теперь, что касается внешнего вида Воланда, то, ведь, по роману это не настоящий его вид. Автор углубляет и осмысляет то, что по этому поводу сказано у других авторов, и опять же, опираясь главным образом на Алексея Толстого. У того Сатана просит Духов, чтобы они предоставили ему, безобразному, "какой-то облик или платье", и, по их согласию, является в виде "черного ангела" со словами:

Вот так известен я певцам,
А живописцам наипаче.

2 А.А. Горелов. К истолкованию понятия фольклоризма в литературе. — в сб. "Русский фольклор", ИРЛИ, т. 19, 1979.

3 "Несказочная народная проза" — чудесные истории, которые принимаются за правду. К несказочной прозе относятся, например, известные уральские сказки о Хозяйке Медной горы. В ее существование, действительно, верили и рассказывали о ней как о виденной и встреченной. Поэтому она и Хозяйка, а не какая-нибудь сказочная царица.

4 Сообщает об этом источнике Л.Е. Белозерская-Булгакова в своей книге "О, мед воспоминаний", Ардис, 1979, стр. 122. Автор утверждает: "С полной уверенностью я говорю, что небольшая повесть эта послужила зарождением замысла... для написания романа "Мастер и Маргарита".

Именно это и прodelывает над Воландом Булгаков.

Какой же вид имеет Воланд? Среди всех его нарядов и описаний у Булгакова есть такое: "Лицо у Воланда было скошено в сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины..." и в другом месте: "...Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов..." Все это весьма похоже не то на оперный грим Шаляпина, не то на скульптуру Антокольского ("Вот так известен я певцам, А живописцам наипаче").

В последней скачке на волшебных конях все спутники Маргариты принимают свой истинный вид, и Воланд тоже... но, описывая остальных, автор обходит Воланда молчанием. Слишком значителен и непостижим подлинный вид Воланда, чтобы его можно было описать!

Можно назвать и еще ряд источников, имеющих прямое соотношение с различными деталями романа. Таковы ассоциации, прямо ведущие к творчеству А.Грина. С ним связана жемчужина Булгаковского романа — настоящие стихи в прозе: "Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами..."; они восходят к тираде из рассказа Грина "Корабли в Лиссе": "Как печальны летние вечера! Ровная тень их бродит, обнявшись с усталым солнцем... но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли?... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне..."⁵

Феерическая обстановка "Великого бала Сатаны" сразу вызывает в памяти обстановку заключительного праздника в "Золотой цепи" А.Грина.

Глобус Воланда — происходящие на нем войны, участие в них ангела смерти Абадонны, — это же гомеровское описание щита Ахилла, выкованного Гефестом. И там, в описании земного диска (этого "глобуса" древних греков) видна ожившая панорама войны, сражение войск, среди которых "рыщут Смерть и свирепая Вражда".

В жутком появлении "вампира-наводчика" Варенухи и мертвой Геллы в кабинете администратора Варьете Рим-

ского — явственно слышны отголоски "страшных" вампирических и оккультных романов, которые печатались у нас в 19-м веке в периодических сборниках переводной литературы и которые, видимо, были знакомы Булгакову.

Но все это — небольшие отступления, действительно — произвольные "литературные забавы". Гораздо важнее вопрос: так что же такое на самом деле Воланд? Как использовал Булгаков свои источники, что он сделал из образа Сатаны, князя тьмы, духа зла?

Чаще всего безмолвно принимают, что проблематика романа совпадает с указаниями источников. Никто не усомнился в "злой" сущности Воланда. Одна московская дама, литературный критик, восклицала: "Булгаков хочет заставить нас служить злу, любить злу". Это верно — если Воланд зло, потому что он покоряет сердце читателя. Но разве можно так выразиться о Мефистофеле Гете или о Сатане Толстого?

Те оба, действительно, "хотят зла". Мефистофель хочет завладеть душой Фауста, сделать его (на том свете?) своим покорным слугой. Он помогает Фаусту погубить Маргариту, и ее заставляет совершить убийство — своей матери и своего ребенка. Сатана тоже хочет завладеть Жуаном, толкает его на преступления, на безверие, богохульство. А хочет ли зла Воланд? Нет, слова Мефистофеля (см. эпиграф) к нему не относятся. Поистине, он сочувствует добру. Но тогда какой же это Сатана?

Рассмотрим, каковы отношения Воланда с добром и злом.

Из всех функций дьявола за ним осталась одна — наказание зла. Зло — не в Сатане, а в самих людях, в их поступках. Горелов говорит: важный идейно-структурный мотив всего произведения — зло можно победить только разрушительной, уничтожающей силой. Иначе и не мог бы сказать советский автор. Но это неверно. Булгаков совсем не это имел в виду. Когда, например, Иешуа обращается к Воланду с просьбой — взять с собой Мастера и наградить его покоем — он обращается не к "разрушительной силе". Горелов говорит — восстановление справедливости проходит через весь роман. А кто восстанавливает справедливость? Воланд. Так какой же он Сатана?

Воланд не предупреждает зло, не разрушает его, а наказывает тех, кто этому злу способствует. Зло — функция людей. Конечно, по словам Воланда, "люди как люди; и милосердие иногда стучится в их сердца". Но в общем, чем больше возможность причинять зло, чем больше зло, тем меньше его носители склонны к милосердию. Конечно, милосердие свойственно и людям, но сами по себе "добрые" бессильны, и нужно вмешательство потусторонних сил, чтобы могло осуществиться добро.

Горелов говорит: "дух зла... сочувствуя добру, неспособен к его деянию в прямом и непосредственном смысле. Как говорит Сатана, "каждое ведомство должно заниматься своими делами". Что же это за "дух зла", что это за фигура, которая, сочувствуя добру (а не желая зла, как Мефистофель), все же не может прямо творить добро? Какое это "ведомство"? Это — меньше всего "зло". Это — справедливость.

Слово сказано. Да, Воланд, имеющий облик и все внешние атрибуты духа зла (о чем говорится на протяжении всего романа), на самом деле — высшая справедливость. Он и вся его свита — лишь справедливое наказание зла. Их деятельность ответна, вторична.

Что это за надмирная справедливость, кто ее соблюдает, каково ее место в картине мира — разберемся после. Здесь скажем лишь, что по роману, совершая зло, люди не нуждаются для этого в подсказке духа зла.⁶

2. Великий бал Сатаны

С этой точки зрения важно рассмотреть главу "Великий бал Сатаны", занимающую значительное место в романе. Критики, естественно, сравнивают бал Сатаны с фольклорным "шабашем ведьм", называют его "черной мессой", "антилитургией". Словом, видят в нем торжество и ликование зла. На балу присутствуют тягчайшие преступники всех времен и народов; принимает их — правда, не сам Сатана, но его сатанинская свита и главная ведьма, королева, роль которой на этот раз исполняет героиня романа — Маргарита (кстати, в знак ее представительства на ней надето изображение черного пуделя — символ Сатаны). Что же здесь общего с ша-

5 А. Грин. Собрание сочинений в 6-ти томах, т. 4, стр. 252

6 Только в одном месте "бала Сатаны" говорится о том, что Азazelло дает злой совет убийце. Но надо бы выяснить, принадлежит ли это место к последней редакции романа.

башем, с черной мессой народных преданий? Как и в облике Воланда — ничего общего, кроме чисто внешних черт. Воланд здесь, действительно, выступает как "повелитель теней", князь мертвых преступников, злодеев, убийц. Все эти "гости" приходят на бал "через громадную швейцарскую, с совершенно необъятным камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик". Несомненно, это вход в преисподнюю, в обитель смерти, из которой появляются истлевшие тела мертвецов и, ударившись об пол, оживают, превращаются в бальных гостей. Но они вовсе не ведут себя, как ведьмы и черти на шабаше: не поклоняются злу, не дают отчета Сатане в содеянном им зле, не принимают от него поощрения к дальнейшему злу. Коровьев рассказывает Маргарите об их прошлых злодеяниях, но это имеет смысл только как представление гостей королеве. На балу все эти давно умершие злодеи чувствуют себя людьми, веселятся, пьют, танцуют, принимают привет от королевы, целуют ее милостивое колено. После чего опять возвращаются в преисподнюю. Во всем этом заключен определенный смысл. Без обиняков, "великий бал Сатаны" — это н о ч ь м и л о с е р д и я для самых страшных грешников. Отсюда понятны все детали бала. Весеннее полнолуние, когда справляется ежегодно бал — это, ведь, канун Пасхи; здесь милосердие уместнее всего. Коровьев все время напоминает королеве, что с гостями ей надо быть любезной и внимательной — "хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть маленький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они захиреют..." Это совсем не та мотивировка "адского этикета", который предлагает соблюдать Фаусту Мефистофель в Вальпургиеву ночь. Это — сострадание, милосердие. Кот Бегемот пригласил на бал оркестр — крупнейших музыкантов прошлого (но не из ведомства Сатаны!) во главе с дирижером Иоганном Штраусом; Кот говорит: "И заметьте, ни один не заболел, и ни один не отказался". Из страха перед Сатаной? Нет, из сострадания к грешникам. Королева должна оценить это и отблагодарить их — особым вниманием, иначе они "не заснут всю ночь".

Конечно, на таком балу нужна королева. Сам Воланд не появляется на балу вплоть до его окончания: ему самому милосердие чуждо, ненужно. "Каждое ведомство должно заниматься своими дела-

ми". Справедливость в царстве тьмы формальна. Когда Коровьев рассказывает Маргарите о преступлении Фриды, убившей своего ребенка, Маргарита спрашивает: а где же хозяин Фриды, отец ребенка? — "Королева, — вдруг захрипел снизу кот, — разрешите мне спросить вас: при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!" И Маргарита, хотя и обрывает кота, но запоминает его слова. Для нее самой характерно иступленное чувство справедливости.

Это и есть причина симпатии к ней Воланда, его абсолютного к ней доверия и участия. Но кроме того, ей в высшей степени свойственно и чувство сострадания — к тем, кто, как ей кажется, наказан несправедливо или чересчур сурово. Конечно, у нее нет сострадания к Латунскому, у которого она громит квартиру. Если она и не допускает дальнейшего его наказания, то потому лишь, что она точно знает меру возмездия, которое заслужил ничтожный литературный холуй. Иное дело — вся история с Фридой. Но объясняет ее Маргарита не как сострадание, а как порыв самолюбия: она имела неосторожность подать Фриде твердую надежду на прощение, и если Фрида окажется обманутой, то Маргарита попадет в ужасное положение, унижительное для ее королевского достоинства. Так Воланду должно быть понятнее. Она, действительно, "очень умна" и тактична. Глубоким состраданием она движима и к Пилату ("Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много?"). И Воланд отвечает именно на этот порыв сострадания: "Повторяется история с Фридой? Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя..." Действительно, для Пилата уже есть надежда на милосердие...

Милосердие... Что же это такое, и в каких отношениях оно находится со справедливостью?

Милосердие, добро, — это, конечно, "ведомство" Иешуа. Об Иешуа мы поговорим попозже. Милосердие не отменяет наказания, но устанавливает меру справедливого наказания, — большего не требует даже христианство. Есть случаи, когда милосердие прощает. Это случай с Фридой, с Пилатом. Но о Пилате тоже потом.

Воланд не делает зла ради зла; он соблюдает меру в наказании, хотя и не он устанавливает эту меру. Следует пристальнее взглянуть на его отношения с добром, со "светом".

Это совсем не отношения Сатаны

с Богом. Правда, Воланд иронически отзывается об Евангелии, считая его легендарным. Он говорит Берлиозу (быть может, издеваясь над ним): "уж кто-кто, но вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия как на исторический источник..." (реплика двусмысленная: не хочет ли сказать Воланд, что сила Евангелия совсем не в исторической точности). Так же иронизирует он и над Левием Матвеем, которого называет рабом и глупцом. Но ни одного слова насмешки он не позволяет себе по отношению к Иешуа. У Гете Мефистофель говорит о Господе довольно легкомысленно:

Охотно старика я вижу иногда,
Хоть и держу язык; приятно убедиться,
Что даже важные такие господа
Умеют вежливо и с чертом обходиться!
(пер. Н.Холодковского)

(у Булгакова кот, состоящий в свите Сатаны, говорит Мастеру: "Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом...").

Иешуа, и перейдя в "свет", верен себе и не может, скажем, жестко потребовать чего-нибудь даже от Сатаны. Он просит Воланда — через Левия — "взять с собой Мастера", на что Воланд отвечает кратко и без всякой иронии: "Передай, что будет сделано".

Для удовольствия читателя внешний рисунок поведения Воланда — самый "сатанинский". Ему неприятно присутствие евангелиста Левия Матвея; Сатана и его слуги традиционно боятся имени Бога, боятся крестного знамения (кухарка застройщика "хотела поднять руку для крестного знамения, но Азazelло грозно закричал с седла: — Отрежу руку!.."). Воланд избегает лишней раз называть Иешуа по имени; он говорит: "Тот, с кем так стремится разговаривать Пилат..." Но он безмолвно признает его существом высшим, чем он сам. Милосердие "света" для него необязательно. Мало того, так устроен мир, и это правильно, хотя и непонятно и неприятно Воланду. Словом, ведомства "света" и "тьмы" — это не прогивоборствующие силы, а нечто вроде законодательной и исполнительной власти в мире. На этом и остановимся, не будем вносить в это оттенка религиозных представлений. Здесь это не обязательно, хотя все эти проблемы и персонафицированы в виде образов, искони прису-

щих сфере религии. Как увидим, по существу это иной круг проблем и представлений.

Собственно говоря, Воланд — не Сатана. Он волшебник, не добрый, и не злой, а справедливый волшебник,нисходительный к человеческому добру и нетерпимый к человеческому злу. Таким предстает его образ в романе.

Здесь уместно рассмотреть отношение Воланда к Мастеру.

Конечно, сначала Воланд обращает внимание на Мастера ради Маргариты. Но при взгляде на Мастера ему все становится ясным. "Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали. — Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить." И когда Мастер приходит в себя, Воланд вступает с ним в разговор. Даже среди других блистательных диалогов романа разговор Воланда с Мастером представляет собою сущий шедевр по психологической тонкости и верности тона. Все разговоры Воланда с людьми, со свитой исполнены иронии, чувства превосходства, двусмысленности. Даже с Маргаритой, к которой он относится с глубокой симпатией, Воланд все же говорит снисходительно и покровительственно. И только с Мастером он ведет разговор как с равным себе, по полному взаимному пониманию. Разговоры Воланда с Мастером можно было бы не то что цитировать, а выписать все от начала до конца — так необыкновенно тонко и ясно они интонированы и передают в совершенстве не только отношение Воланда к своему собеседнику, но и роль Воланда во всей этой истории, место его в картине булгаковского мира. Разве Воланд сам устраивает судьбу Мастера и Маргариты? Их судьба решена высшей властью, а Воланд только приводит это решение в исполнение. Но он совершенно согласен с этим решением и считает его наилучшим. Нет! Невозможно все цитировать, — прочтите сами все окончание романа, в особенности — его кульминацию, последнюю скачку на волшебных конях, прощение Пилата и окончательную судьбу Мастера. И когда "черный Воланд, неразбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита", — не Сатана уходит со страниц романа, а могущественная сила, совершившая все, чего хотели высшие силы, давшая всему оценку, восстановившая справедливость в главной коллизии романа.

3. Бессмертие

С отношениями "справедливости" и "милосердия" связан второй круг философских идей книги — это представление о бессмертии, которое занимает существенное место в проблематике романа. Впрямую о бессмертии слышит Пилат, когда вынужден согласиться на казнь Иешуа: "Тоска осталась необъясненной... "Бессмертие пришло... бессмертие." Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат. — Да будет так."

Ожидающее его бессмертие открывается ему во сне, — когда он идет по лунной дороге рядом с бродячим философом, и тот говорит ему: "Мы теперь будем всегда вместе... Раз один, — значит, тут же и другой! Помянут меня — сейчас же помянут и тебя!" И действительно, бессмертие римского наместника навеки соединено с божественным бессмертием его собеседника. Даже в "Символе веры", этом краеугольном камне христианского вероучения, сказано: "Верую... во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего... сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии девы и вочеловечшася" и сразу же: "Распятого же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и погребенна". Помянут меня — сейчас же помянут и тебя..." И во сне прокуратор Иудеи плачет и просит: "Да, да, не забудь, помяни меня!"

Что же это за бессмертие? Ведь исторический Пилат продолжал жить и после казни Христа; его бессмертие не имеет обычного религиозного смысла; в романе его постигает совсем иное бессмертие. "Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру одиноко сидящего человека... Сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны... Рядом с тяжелым каменным креслом... лежит громадная остроухая собака и так же, как и ее хозяин, беспокойно глядит на луну..." "Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна... его терзает бессонница... Он говорит... что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность... Он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу."

Таким образом, Пилат "впал в бессмертие" в тот момент, когда совершил свое преступление, и в том виде, в каком он остался бессмертным в памяти человечества. Как будто бы перед нами абстрактное представление о бессмертии, но Булгаков придал этой абстракции такую фантастическую конкретность, что невозможно воспринимать это как абстракцию. Пилат получил бессмертие в живых чувствах человечества, и его бессмертию писатель придал убедительность реального существования.

И это всюду так. Вспомним слова Воланда, обращенные к мертвой, но все сознающей голове Берлиоза: "Каждому будет по его вере. Вы уходите в небытие..." Тут нет ничего мистического: Берлиоз, писатель, человек, видимо, умный и одаренный ("...на мертвом лице Маргарита... увидела живые, полные мысли и страдания глаза..."), не заботился о своем бессмертии, не верил в него. За чечевичную похлебку житейских благ и преуспевания он отдал свое право — говорить правду, умереть в сумасшедшем доме и стать бессмертным... Его забудут люди, ему не дано бессмертия в памяти человечества...

Но... а Фрида? Уж она-то меньше всего бессмертна "в памяти человечества". В чем же смысл ее посмертного существования?

По Булгакову, бессмертие имеет и другую сторону — в привычном для человечества представлении о личном бессмертии, но особого рода: это бессмертие сознания и памяти самого человека — памяти о своих поступках и преступлениях. Эта жгучая память вообще говоря свойственна и живому человеку и представляет собою для него иной раз жесточайшее мучение. Но Булгаков распространяет это и на умерших — делая их бессмертными и наделяя их, во-первых, сознанием своих дел, во-вторых, вечной мукой — памятью о содеянном. Это воплощено в наказании Фриды, которой все время напоминают о ее преступлении; в наказании Берлиоза, который все понял своим пробудившимся сознанием и остается с этим навечно.

Когда Азazelло отравляет Мастера и Маргариту, а затем оживляет их для бессмертной жизни (надо умереть, чтобы стать бессмертным!), Мастер говорит: "Я теперь ничего и никогда не забуду".

Итак, по Булгакову, существует личное бессмертие: бессмертно сознание, и бессмертна память о своих поступках и преступлениях. Эта память имеет

социальный символ: память о содеянном для людей или против людей; имеется и "внешнее" бессмертие – память людей, человечества о поступках этого человека.

С этой точки зрения рассмотрим, что же представляет собою судьба Мастера? Почему его бессмертие какое-то половинчатое?

Вопрос о том, каким образом постигло бессмертие Мастера и Маргариту, явно не доработан Булгаковым. По поручению Воланда Азazelло приходит в подвал, где поселилась любящая пара. Он отравляет их, но потом воскрешает – уже в другом естестве. Они умерли, чтобы стать бессмертными. Одновременно с этим в "доме с фонарем" умирает женщина (это Маргарита), а в психиатрической клинике умирает больной №118 (Мастер). Это их смерть "для людей". Но в эпилоге романа рассказывается: следствие установило, что таинственные "магнетизеры" (то есть, Воланд и его свита), исчезая из Москвы, похитили Маргариту и ее домработницу Наташу, а также – неизвестно зачем – больного №118. Никакого упоминания об их смерти "для людей" нет. Вероятно, автор сам для себя окончательно не решил, как быть с этим фантастическим бессмертием. Но, во всяком случае, Мастер и Маргарита отныне бессмертны (а Наташа "ушла в ведьмы"). Но каково же их бессмертие? Когда Левий Матвей является к Воланду, он передает Сатане просьбу Иешуа – взять Мастера с собой и наградить его покоем. На вопрос Воланда: "А что же вы не берете его к себе, в свет?" Левий отвечает печально: "Он не заслужил света, он заслужил покой". Что это за такая форма бессмертия? Понтия Пилата, "прощенного в это воскресенье", Иешуа берет к себе, в "свет". Но Мастер получает только покой. Несмотря на все уговоры, как Воланда, так и Маргариты, этот "вечный покой" в тихом, потустороннем доме, с тихим счастьем, – вряд ли может служить наградой Мастеру. Он будет "писать гусиными перьями" – о чем? создавать "гомункулуса в реторте" – для чего? Нет радости в этом разрешении романа. Больной Иванушка – Иван Поньрев – в своей творческой жизни (он "стал профессором" и, как видно, отныне занимается чем-то вроде истории христианства) гораздо счастливее своего учителя, получившего бессмертие в это воскресенье.

Фигура Мастера безусловно автобио-

графична. И печальные слова Левия: "Он не заслужил света, он заслужил покой" – это горестные размышления писателя о своей собственной судьбе. Он не довел до конца дела своей жизни, он не увидит опубликованным свое главное произведение, в самом бессмертии он не войдет в "свет". Отчасти это, может быть, творческая неудовлетворенность.

И хотя "рукописи не горят" (эти слова Воланда стали поистине крылатыми!), но как горько идти к смерти и не знать – какова будет судьба твоей рукописи. И никакой ошеломительный успех ее после смерти писателя не дал ему самому ощущения бессмертно сделанного дела. Уверенность в бессмертии твоего дела не заменяет знания о том же. И он, автор одного из величайших произведений XX века, которого преследовали и травили всяческие Латунские и Лавровичи, – приближаясь к смерти, мечтал только о покое...

"Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший, и он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его".

4. Прокуратор Иудеи

Для виновного перед людьми есть и надежда – так же извне, от людей, может придти прощение его преступлений.

В романе эта проблема тесно связана с обликом и судьбой Понтия Пилата – во вставном романе о жестоком и несчастном наместнике Иудеи, о его бессмертии, его наказании и прощении.

Для того, чтобы оценить значение этого персонажа, надо подробно рассмотреть его место во вставном романе.

Канва событий этого романа определена евангельским рассказом о смерти Христа. Писатель дает свою интерпретацию этих событий – наполовину через посредство разговоров и рассказов третьих лиц. Но очень подробно изложена вся история с участием Понтия Пилата в повествовании.

В числе историков и комментаторов христианского учения был немецкий историк (и фашист) Дреус. Он подробно рассматривает евангельские текс-

ты и заключает, что все решительно события евангельской истории суть как бы выполнение библейских пророчеств о пришествии Мессии. Нет ни одного лица или эпизода в Евангелии – считает Дреус – о котором нельзя было бы заранее найти предсказания у пророков Библии. Поэтому – говорит Дреус – невозможно установить историческую истину в этом вопросе. Вспоминая происшедшее, евангелисты невольно подгоняли факты под эти пророчества. Все до единого факты тонут в этом мистическом тумане. Конечно, верующие могли бы возразить, что все это понятно: пророки Библии правильно предсказали события Евангелия. Но не будем этого обсуждать. Нас в данном случае интересует одно: история Понтия Пилата, его участие в евангельском рассказе.

Думается, что соображения Дреуса не могут быть применены к евангельскому эпизоду о Понтии Пилате. Уж очень оригинален и неповторим этот эпизод. Вряд ли для истории с Пилатом можно обнаружить ее предсказанность в Библии. Скорее можно предположить, что так оно и было на самом деле и воображение народа было потрясено этим: жестокий прокуратор, гордый римлянин, враг Иудеи, естественно – презиравший этот варварский народ ("Чего стоил один этот Мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году!"), – пытался обелить и спасти от страшной казни бродячего иудейского проповедника, совершенно ему чуждого и непонятного, к которому он проявил внимание и сострадание, из-за которого готов был пойти даже на конфликт с духовной властью иудеев. Это было, конечно, поразительно, ни в какие рамки библейских предсказаний о Мессии не укладывалось. Так оно и осталось в памяти народа, так и вошло в Евангелие. Это использовал и по-своему истолковал Булгаков.

Вставной роман о Понтии Пилате состоит в описании одного дня, перевернувшего всю судьбу прокуратора, в изложении событий этого дня и переживаний Пилата. Булгаков дает всему этому совершенно определенное истолкование и интерпретацию. В отличие от основного повествования, во вставном романе нет ни фантастики, ни гротеска; он написан в лучших традициях исторического романа: историческая канва, детально изученные локальные реалии (тщательно соблюден даже план Иерусалима и его окрестностей) и вполне реалистический художественный домы-

сел. На переднем плане действует вымышленный герой (вымышленный — поскольку подробности переживаний и действий Пилата вымышленные), а на общем историческом фоне проходит главное историческое лицо эпохи (в данном случае — Христос).

В одной из статей о "Мастере и Маргарите" (вернее, в газетной заметке, краткой, но содержательной) автор — В.Завалишин — обращает внимание на связь романа о Пилате с содержанием апокрифов о Пилате. Действительно, Булгаков несомненно пользовался апокрифами. Из апокрифов взяты "биографические" сведения о Пилате, в частности — о его происхождении: он "сын короля звездочета и красавицы мельничихи Пилы". Ссылаясь на апокрифы, В.Завалишин говорит, что Пилат ненавидел иудейского первосвященника Каифу (мы в детстве учили Каиафу), который писал на него доносы в Рим, и Пилат имел от того неприятные взыскания; ненавидел, но "считался с ним, зная, что верховные языческие жрецы Древнего Рима на стороне иудейского первосвященника. Вот почему, — говорит Завалишин, — Пилат не без сожаления послал Иисуса на Голгофу вместо головореза Варравы или Вар-Раввана." Но как мало это "не без сожаления" похоже на те чувства, которые владеют Пилатом в романе! Вражда его к Каифе отодвинута на задний план. Писатель дал действиям Пилата свою мотивировку, поразительную и убедительную, и исторически, и психологически, и как угодно...

Роман начинается с разговора прокуратора с арестованным Га-Ноцри. Почему Пилат так стремится спасти приведенного к нему преступника, подсказывает ему безопасные ответы, старается добиться у Каифы его освобождения? Неужели только из желания досадить Каифе? Или только из желания спасти для себя врача, способного излечить его от мучительной гемикрании (мигрени)? Нет, это лишь предлог, который Пилат ставит перед собой, чтобы не признаться себе в неожиданном, внезапном чувстве, перевернувшем его судьбу. Судьбу не обыденно-индивидуальную, а судьбу большого масштаба, в истории, в памяти и чувствах людей, в собственной бессмертной памяти наместника.

Незаурядная личность — этот Понтий Пилат. Недаром говорит ему Га-Ноцри: "Ты производишь впечатление очень умного человека". Но весь ум Пилата направлен на то, чтобы удержать-

ся, сделать карьеру в мире жестокого императорского произвола. Он приспособился к этому миру — корысти, доносам, недоверия каждого к каждому, необходимости рассчитывать каждый шаг, каждое слово, чтобы не вызвать неприятных последствий. Он тонкий политик, он точно знает, что можно, а чего нельзя сказать или сделать. Как говорит он первосвященнику: "Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю".

При этом Пилат отлично знает, что такое добро и зло. Он знает, что великан Марк — "холодный, убежденный палач", что Иуда — "грязный предатель". Но Пилат не верит в силу добра, ни одной минуты не рассчитывает на добро. Поэтому его так поражает встреча с Иешуа, утверждающим: "Все люди добрые. Злых людей нет на свете." Бродячий философ с его утопической верой в добро, — быть может, единственный действительно добрый человек, встреченный Пилатом. Каждое слово Иешуа противоречит всему жизненному опыту прокуратора и в то же время будит в нем желание услышать еще и еще ту проповедь добра и Божественного знания, с которой обращается к людям Иешуа. Пилату кажется, что он еще должен о чем-то договориться с философом. Он сам себе не признается, что им движет внезапная и глубокая любовь к нищему учителю истины. Но в действительности именно этим объясняется все его поведение. Все знание добра, какое есть в глубине души Пилата, отозвалось на эту проповедь, и тем нестерпимее и ужаснее его положение. Он хочет освободить Иешуа и взять его к себе в Кесарию и уже готов это сделать, как тут выясняются новые обстоятельства дела, грозящие Иешуа обвинением в оскорблении величества цезаря. Перед Пилатом внезапно встает проблема: спасая философа, он рискует своей карьерой, свободой, может быть, даже жизнью. И Пилат отступает. Он еще пытается что-то сделать — он пробует просьбами, требованиями, угрозами заставить первосвященника Каифу по обычаю в день Пасхи помиловать и освободить осужденного преступника. Когда же Каифа окончательно отказывается помиловать осужденного (угрожая к тому же Пилату доносом), прокуратор "умывает руки" и, подавив бессильный гнев, малодушно дает согласие на казнь. Все дальнейшее — результат его малодушия перед лицом зла. Пилат старается только облегчить смерть Ие-

шуа, — но тоже в пределах законности.

Однако после казни Пилат хочет еще многое сделать — ради Учителя, чтобы отомстить за него и утолить свое страдание. Это он делает при помощи Афрания, начальника тайной полиции. Полны тонкой политики все разговоры прокуратора с Афранием. С одной стороны, ему надо, чтобы всемогущий начальник тайной полиции понял его желания, с другой стороны — боится его доноса. Он пытается подкупить Афрания наградами и обещаниями, боится отпустить его от себя. Он не дает прямых указаний — убить Иуду, затем вернуть первосвященнику кошелек Иуды с платой за предательство; наоборот, все его слова как бы противоречат этому. Афрания должен угадать — и действительно угадывает его истинные намерения. Вот поступки Афрания: он организует убийство Иуды (оберегая при этом от подозрений своего агента — гречанку Низу); велит подбросить Каифе кошелек Иуды; принимает к сведению и распространению подсказанную ему Пилатом версию о самоубийстве Иуды (это мы можем угадать уже по евангельскому рассказу о смерти Иуды). Он приказывает стражникам быть снисходительным к Левию Матвею и, после погребения казненных, доставляет Левия к Пилату, зная, что тот захочет увидеть спутника Иешуа. Афрания видит, конечно, что прокуратор как-то лично заинтересован в Иешуа. Может быть, это желание сделать наперекор Каифе, причинить ему неприятность, отплатить за вынужденную уступку. Но, угадывая желания и намерения прокуратора, Афрания не должен до конца понять его. Пилат намеренно держит его в заблуждении. Он подчеркивает лишь, что кошелек Иуды с деньгами, полученными от Каифы, — огромная неприятность для первосвященника.

Опытный политик и умный человек, Пилат не выдает свои настоящие мысли и намерения. И только Левию Матвею, своему единомышленнику и ученику Иешуа, он открывается до конца, говорит обо всем прямо. Напомним разговор Пилата с Левием об убийстве Иуды. Пилат с наслаждением признается: "Это сделал я". Все замашки гордого и властного аристократа отброшены им. Он терпеливо говорит с Левием и бесприкословно принимает обвинение в убийстве Учителя, и лишь говорит, что Иешуа никого не винил, умирая. Он предлагает Левию безопасную и безбедную жизнь в Кесарии, но бывший

сборщик податей отказывается. Его ждет здесь подвиг евангелиста... От Пилата он принимает только "кусочек пергамента".

Как мы уже говорили, в романе о Понтии Пилате нет ничего фантастического или мистического. Он написан в реалистической манере. Трудно понять, почему некоторые критики считают "сниженным" образ Христа в романе, "словно он увиден глазами Сатаны". Что же обидного для верующих может быть в том, что писатель пытался увидеть простые, человеческие черты в вероучителе? Ведь даже с точки зрения религии он Б о г о ч е л о в е к! При всем его внешнем простодушии он обладает высоким и тонким пониманием жизни и людей; он только чужд всему житейскому. А уж его убежденность в абсолютном превосходстве добра над злом никак не может считаться "снижением" образа. Недаром Каифа называет его "обольстителем народа". Он, конечно, проповедник неотразимой силы, но разве нужно, чтобы он всюду в романе говорил языком евангельской проповеди? К тому же, Булгаков подчеркивает, что Евангелие как изложение вероучения сделано уже после смерти Христа, его учениками, а не сформулировано самим Учителем. Иешуа говорит: "Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил..." И ранее: "Эти добрые люди... ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной"

В романе Иешуа изображен, главным образом, с точки зрения встречающихся с ним людей, и прежде всего — каким увидел его Пилат (а вовсе не "глазами Сатаны"); что переживал Левий Матвей. Все это соответствует традиции исторического романа.

Конечно, главное действующее лицо вставного романа — это Понтий Пилат. Недаром вставной роман (равно как и основной) заканчивается словами "пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат". Но и об Иешуа сказано многое, хотя большей частью косвенно. Прежде всего, он пришел в Иерусалим без всякой помпы; у него "даже и осла-то не было". Но уже через несколько дней, как выразился Пилат, "все праздные зеваки Ершалаима ходили за ним". А ког-

да Пилат убеждает Каифу, что Вар-Равван гораздо опаснее сумасшедшего мечтателя, Каифа отвечает: "Прислушайся, прокуратор!.. (к реву толпы и тревожным трубным сигналам римской пехоты — Е.Т.) Неужели ты скажешь мне, что все это... вызвал жалкий разбойник Вар-Равван?"

А к этому прибавим еще и внезапный, потрясающий перелом в чувствах и сознании самого прокуратора. Что же тут ложного или обидного для верующих? Эта попытка исторической реконструкции облика Христа сделана, по-моему, очень тактично и никого не должна задевать.

Но все остальное — не о нем, а главным образом о Пилате. Это не исторический роман о возникновении христианства, а история преступления прокуратора Иудеи.

Единственный "выход в фантастику" происходит во сне Пилата. Во сне он встречается с казненным философом, но ему чудится, что в действительности казни не было, и тут Пилат понимает, что он должен сделать. Сначала он говорит: "...помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?" И далее:

"— Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат. — Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого мечтателя и врача!"

От этого сна тянутся нити уже к основному роману — где Мастер в сопровождении Воланда и его свиты, в последней своей скачке на волшебных конях, попадает на площадку в горах, где сидит бессмертный, выдуманный им герой. Здесь наступает развязка обоих сюжетов — и основного, и вставного. Это место очень важно для понимания романа в целом, к чему мы и перейдем.

5. Правильно построенный мир

Подведем итоги. Отвлечемся от религиозных представлений, попробуем отнестись к вопросу непредвзято и сформулируем окончательно, что же такое "правильно построенный мир" у Булгакова.

Старая модель мира — разделения

на добро и зло — не удовлетворяет художника. Мировое зло приняло такие размеры, что человечество может вконец утратить веру в силу добра.

В представлении Булгакова мир устроен иначе, чем по привычной модели, издавна принятой человечеством, где добро и зло — над-мировые, над-человеческие силы, искони борющиеся за человека. Воланд и Иешуа — не добро и зло; они не противоположны, не антагонистичны. Они, как мы уже говорили, нечто вроде законодательной и исполнительной власти в мире.

Воланд — совсем не обычный Сатана, носитель и вершитель зла. Ничего в нем нет внутренне общего с Мефистофелем Гете или Сатаной А.Толстого. От общепринятого облика Сатаны в нем осталась лишь издевательская повадка. Вся дьявольщина, разгул "нечистой силы" в романе — лишь для удовольствия читателей; в этом нет никакого серьезного отношения к дьяволу. Остроумный и ироничный гений дразнит нас своей "дьяволиадой". Перефразируя реплику Азazelло, можно сказать, что "если бы каждый день встречаться с такой нечистой силой, это было бы приятно" — для тех, конечно, кто не заслужил ее издевательств и наказания. Окончательно, эпиграф из "Фауста" можно понять так: Воланд — часть той силы, которая, как считают люди, вечно хочет зла, но на самом деле участвует в победе добра.

Воланд говорит Маргарите: "Не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир", — и это центральная реплика булгаковского Сатаны, центральная мысль романа. И пусть вся "демониана" романа в точности соответствует фольклорно-литературным представлениям человечества о Сатане. Великолепна, увлекательна фантастическая двойственность образа Воланда — вся "сатанинская" внешность его облика и поведения, в поражающем ум и сердце контрасте с философским смыслом, составляющим глубинные основы этого образа. В то время как Иешуа — воплощенное представлений человечества о добре, доброте и милосердии, Воланд — такое же воплощение представлений о справедливости и справедливом возмездии злу. Их соотношение и дает понятие о правильном устройстве мира.

Ко всему этому надо добавить еще представление автора о двухступенном бессмертии людей — о бессмертии их в памяти человечества и о личном бессмертии каждого человека, — бес-

смерти его сознания и вечной памяти о своих делах — злых или добрых. По всей видимости, эта картина бессмертия связана определенным образом с неким философским учением о "метафизике памяти". Но нельзя быть уверенным, что Булгаков действительно держится этих взглядов. Так и кажется, что в бессмертие "по Воланду" он верит не больше, чем в самого Сатану, и о загробном покое думает совсем не в том плане (см. всю тираду "Как грустна вечерняя земля...").

Роман о Мастере и Маргарите — не мистический и не религиозный; он вполне "земной" и говорит о земных делах, жизни, истории. Его философия — это философия понимания автором истории человечества, а его фантастический облик помогает воспринять эту философию, поверить в нее как в сущее, чтобы в мрачайшую эпоху жизни человечества люди могли поверить в силу добра и справедливости, хотя бы и не в религиозном смысле.

Перед религией автор виноват лишь в том, что показал свою модель мира в облике знакомых религиозных представлений, по существу уклонившись от них.

Мы столько говорили о зле; как же это зло представлено в романе?

Зло изображено в романе очень завуалировано. Присмотримся к нему повнимательнее. На поверхности — бытовая обстановка московской жизни 20-х-30-х годов (поданная остро-гротескно). Как характеризует ее исследователь, это среда, "где зло приспособилось к обновленным социальным условиям", среда "конъюнктурных извлекателей материальных благ", попросту говоря — разных мелких и крупных жуликов: сколько их, жуликов — вроде управдома Никанора Босого, не делавшего ничего без взятки, подтверждающего, что "в домоуправлении все воры"; вороватого зав. буфетом Сокова; какого-нибудь Хустова, который "сволочь, склочник, приспособленец и подхалим"; здесь и всякие администраторы, которые, как Степа Лиходеев, "ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено", только "начальству втирают очки" и "жутко свинячат". Над ними беспощадно издевается Воланд, доводит их до тюрьмы, до сумасшедшего дома. Но, впрочем, все понемножку устраивается, жулики только меняются местами, получают новые назначения... В конце концов,

не в них корень зла. Как сказал один европейский гость Советского Союза, — "удивительная страна, где правительство старается обмануть своих граждан, а граждане стараются обмануть свое правительство". А в чем провинились служащие "зрелищного филиала", которых наглый регент Фагот заставил безостановочно петь "Славное море, священный Байкал"? В том, что они, как один, всем скопом исполняли любую, самую дурацкую идею начальства: несчастные советские граждане, выполняющие все "единогласно", дружно и без колебаний, хотя и проклиная в душе затеи начальников...

Следующий слой носителей социального зла — это среда, которую так хорошо знал Булгаков: литературная среда, писатели (в романе — МАССОЛИТ), также приспособленцы и подхалимы; борьба за лучшее место идет между ними еще яростнее, потому что и куш побольше... Проявлять особые таланты тут не требуется, а требуется выполнять указания начальства, служить его "идеологическим" целям. Тем, кто вскарабкался поверх голов товарищей, — все привилегии, все блага жизни, — и дачка в Перельгине (прозрачный псевдоним Переделкина — подмосковного поселка Союза писателей), и деньги, и "творческие отпуска" и иные блага (см. диалог двух писателей — "тощего, запущенного" Фокки и "румяногубого, пышнощеккого", "умеющего жить" Амвросия-поэта). Правда, за это писатели платят дорогой ценой — они торгуют своим талантом (у кого он есть), своей душой. Как характеризует поэт Бездомный своего спутника поэта Рюхина: "...кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария...", со своими "звучными стихами, которые он сочинил к первому числу (к первому мая. — Е.Т.) ... "Взвейтесь!" да "развейтесь!"... а вы загляните к нему внутрь — что он там думает..." И сам Рюхин признается себе, что пишет дурные стихи. "...Отчего они дурны?.. Продажностью, как раковой опухоли, насквозь проросла писательская среда, как мы это хорошо знаем...

Ее порождение — литературная свора, преследующая и губящая Мастера. Эта свора преследовала и губила самого Булгакова. Москвичи точно знали, кого подразумевает писатель, называя Латунского и других.

Свита Воланда поджигает здание МАССОЛИТ'а ("Грибоедова"), от кото-

рого остаются одни головешки, но особо радикальных мер против МАССОЛИТ'а не принимает. Потому что зло не в самой организации МАССОЛИТ, а гораздо глубже — в том устройстве жизни, при которой всеми ее благами и привилегиями распоряжается власть, и за эти блага и привилегии она покупает нужных ей людей. "Грибоедова" отстраивают опять. Воланд говорит по поводу пожара: "Конечно, придется строить новое здание. — Оно будет построено, мессир, — отозвался Коровьев... — Остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, — заметил Воланд. — так и будет, мессир, — сказал Коровьев".

В конце концов Воланд появился в Москве не для того, чтобы исправлять отдельные проявления общего зла. А кстати, зачем Воланд оказался в Москве? Отдельные проявления зла он накалывает походя, между делом; даже справедливость по отношению к Мастеру он восстанавливает тогда, когда сталкивается с ним ради Маргариты... Быть может, главное дело, ради которого он прибыл в Москву — это провести здесь очередную для него "ночь милосердия", "бал ста королей"; все остальное — попутно, хотя в судьбе Мастера и Маргариты он принял большое участие... Тем более, что Мастер — автор романа о Понтии Пилате, который живо интересуется и Воландом, и самого Иешуа... А может быть, все это иначе, и появился Воланд в Москве ради Пилата, который должен быть, наконец, прощен?

Следующий слой "зла" (о котором автор уже не может сказать определеннее, раскрыть его недвусмысленно) показан в "сне" Никанора Босого. Там возникает некое непонятное учреждение, "театр", в котором собраны граждане, сдающие (и нежелающие сдавать) золото, валюту, бриллианты... Весь этот "сон" — издевательское изображение "навыворот" реальности, которая хорошо известна всем, кто помнит конец 20-х — начало 30-х годов. Для сравнения расскажу известный мне эпизод из этой реальности. НКВД забирало граждан (не скажу — арестовывало; это не был настоящий арест по какому-нибудь делу), тех, у кого могло быть золото, валюта, драгоценности. Иметь их считалось тогда не то, чтобы прямым преступлением, но нетерпимым: такие ценности могли принадлежать только государственной власти; вот она их и требовала. Граждане утаивали, отпирались... В частности, арестовывали зубных врачей: у

них должно было быть золото (зубные коронки делались тогда главным образом из золота). Так, забрали одного крупного врача; имя его было известно и у нас, и за океаном; этот врач для социального положения работал немножко в какой-то окраинной поликлинике, а в основном принимал дома и очень ловко всю жизнь водил за нос фининспекторов. Золото у него, безусловно, было, но сдавать его он не хотел. В НКВД двое суток он провел на ногах, стоя запертым между двумя дверями. Через двое суток он плюнул и сдал золото. Уполномоченные НКВД били и непристойно ругали своих "клиентов" (а те, ведь, даже не были арестантами!); среди "клиентов" были и женщины. С этими поправками прочтите наново "сон" Никанора. Имя этому злу — надругательство над человеком, полное его бесправие. Надо заметить, что прямое изображение НКВД у Булгакова везде положительное: следователи беспристрастны, разумны, деловиты ("Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие..."), разве лишь несколько ограничены; чекисты отважны и смелы (например, в "Роковых яйцах", которые сами по себе представляют антисоветский памфлет). Но все это к сюжету отношения не имеет и должно быть признано чистейшим авторским камуфляжем.

После пребывания в НКВД Никанор попадает в психиатрическую клинику, где ему и снится его "сон". Любопытное место — эта клиника профессора Стравинского. Почему в романе всех заболевших везут именно туда? Невольно чувствуется какая-то двусмысленность в изображении этого идеального "дома скорби". Ведь "гениальный психиатр" Стравинский — это явный предшественник пресловутой московской школы психиатрии, давшей впоследствии миру и КГБ теорию "вялотекущей шизофрении" ("шизофрения, как и было сказано"). Что в 30-е годы представляли собою он и его клиника и как на самом деле относился к нему Булгаков? К "положительным" бытовым картинам в романе надо подходить с осторожностью. Иногда они издевательски противопложены тому, что они представляют собою в действительности (как сон Никанора Босого).

И наконец, мы приходим к верхней ступени зла, изображенного в романе. Это появление бывшего барона Майгеля. Майгель — шпион и наушник,

которого специально прислали на прием к Воланду, чтобы выследить и выслотреть все, что можно... Более определенного и глубокого изображения "зла" в романе нет, да и не могло быть. Все же, роман предназначался для легального опубликования... Смерть Майгеля можно сравнить только со смертью Иуды, изображенной во вставном романе.

6. Преступление Понтия Пилата

Здесь надо поставить вопрос, который невольно возникает у каждого, кто пытается проникнуть в суть этого "загадочного романа": зачем Булгаков привлек сюда историю о Понтии Пилате? Какова внутренняя связь между этими частями романа?

Прежде всего, бросается в глаза несомненный параллелизм обстановки в обеих частях книги. Действие вставного романа — его декорация — соответствует обстановке евангельского рассказа. Это месяц нисан (апрель), еврейская Пасха... Весеннее полнолуние, определяющее собою день Пасхи, страшная жара, космическая гроза в конце дня... Все это повторяется в основном романе: весеннее полнолуние, небывалый зной — правда, не апрельского, а майского вечера; но тут разница не столько в широтах Москвы и Иерусалима, сколько в намеренно затуманенных сроках. Все говорит за то, что события в Москве происходят в канун христовой Пасхи. События укладываются, правда, не в один день, а в несколько: Воланд прибывает в Москву в среду; в четверг вечером — "сеанс черной магии" в Варьете; в пятницу — похороны Берлиоза; Азазелло приглашает Маргариту на "бал ста королей"; Маргарита становится ведьмой; в ночь на субботу — "бал милосердия"; в субботу вечером, после сильной грозы, Воланд, в сопровождении своей свиты и Мастера с Маргаритой, покидает Москву. В ночь на пасхальное воскресенье прощен Пилат; это ночь, "когда сводятся все счеты", а Мастер вместе с Маргаритой "получает покой". Вот только смещение сроков на май нарушает эту концепцию — Пасха не может быть в мае. А так все правильно: великий бал Сатаны — это праздник весеннего полнолуния, а Пасха — это первое воскресенье после весеннего полнолуния. В пасхальную ночь Сатана, естественно, должен вернуться к себе в преисподнюю (Коровьев говорит Воланду: "Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора").

В ряде мест автор указывает, что действие происходит в мае. Он прямо называет "майский вечер". Поэт Рюхин сочинил стихи "к 1-му числу" — к 1-му мая. В рассказе Мастера о его встрече с Маргаритой ровно год назад — "майское солнце светило нам". Далее, Андрей Фокич Соков умер в феврале, через девять месяцев после посещения Воланда; значит, посещение состоялось в мае.

Но вместе с тем, все время описываются детали, свидетельствующие о времени более раннем — апреле, а то и марте. При встрече героев романа год назад Маргарита одета в черное весеннее пальто (это не май!), и в руках у нее желтые цветы — "они первые почему-то появляются в Москве". Это мимозы (они названы ниже); их привозят весной с Кавказа гораздо раньше, чем в мае. Описан "пышный, но еще не одетый сад" — это не май!

Словом, в описании событий романа везде идут параллельно два времени: конец марта — начало апреля (это первое весеннее полнолуние, Пасха) и прямо называемый май. Конечно, может быть, автор просто в ходе создания романа переменял сроки и не свел концы с концами (роман ведь не доработан), но очень уж важное место занимает в нем первое весеннее полнолуние (оно везде названо не "первым", а "праздничным") — наступление Пасхи. А Пасха и май несовместимы. Трудно предположить, что автор упустил из виду это несоответствие. Скорее можно подумать, что это затуманивание сроков сделано намеренно. Апрель, Пасха — это время вставного романа. Булгаков не хотел слишком подчеркивать сюжетное соответствие обеих частей романа.

Параллельны между собою ряд реплик, ряд авторских ремарок в обоих романах. Сошлюсь на самое яркое сходство — на описание грозовой тучи:

В Ершалаиме
Тьма, пришедшая с
Средиземного моря,
накрыла ненавидимый
прокуратором город.
Исчезли висячие мосты...
Хасмонецкий дворец
с бойницами...
Пропал Ершалаим —
великий город,
как будто и не существовал
на свете.

В Москве:
Эта тьма, пришедшая
с запада, накрыла
громадный город.
Исчезли мосты,
дворцы. Все пропало,
как будто этого никогда
не было на свете.
Через все небо пробежала
огненная нитка...

Автор как бы говорит нам: обратите внимание на сходство обстановки...

Этот подчеркнутый параллелизм обстановки смутил многих комментаторов. Они сочли обе истории и сюжетно параллельными и усердно искали соответствующие образы среди действующих лиц в обеих частях. Но все это было натяжкой. В основном романе о Мастере и Маргарите нет образа, параллельного ни Пилату, ни тем более Иешуа; и во вставном романе нет параллели ни Мастеру, ни Ивану Бездомному, ни Воланду.

И только образ Иуды, действительно, имеет точный отклик в основном романе — это бывший барон Майгель. Зло сходно в обеих частях. Перекликается гибель обоих — Иуды в ночь на пасхальную пятницу, Майгеля — в ночь на пасхальную субботу. И здесь запрятан ключ к пониманию всего соединения — основного и вставного романа.

Иуда не совсем таков, каким он предстает в евангельском рассказе. Конечно, он так же жаден и корыстолюбив, но он не ученик Христа, предавший Учителя. Его роль несколько иная. Напомним, что рассказывает Иешуа Пилату о своем знакомстве с Иудой: "Иуда пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил"... "...Он выказал величайший интерес к моим мыслям... попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал..." Иешуа рассказывает: "В числе прочего я говорил... что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть... Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму".

Совершенно ясно, что все это было подстроено заранее. Иешуа повели в тюрьму, не дожидаясь никакого доноса. Каифа понимал, что казнить проповедника истины без согласия прокуратора он не сможет; а неприязненному и гордому римлянину мало будет дела до богословских тонкостей. Обвинение должно быть политическим, задевающим интересы Рима. Так все это и было сделано. Иуда получил свои 30 тетрадрахм за участие в этой постановке. Он не предатель — он платный провокатор. Булгаков не дает его поведению прямой оценки, но Иуда наказан самым жестоким образом. Его не только заманили

и убили, но его предала любимая им женщина — агент начальника тайной полиции, — и он все это понял перед смертью. Мало того, в "ночь" милосердия", когда на несколько часов оживают и получают человеческий облик самые страшные преступники — все эти "палачи, доносчики, изменники, безумцы, сыщики, растлители", — где Маргарита видит самых знаменитых злодеев прошлого, вплоть до страшного палача Малюты Скуратова, — среди них нет Иуды. Для Иуды нет ни прощения, ни милосердия. Его преступлению нет равных.

В основном романе, как мы видели, имеется соответствующий Иуде персонаж: это бывший барон Майгель, так же, как и Иуда, шпион и платный провокатор. Современный Иуда Искариот, барон Майгель — это единственный персонаж романа, которого, по приказанию Воланда, убивают демон-убийца Азazelло и "ангел смерти" Абадонна (причем в конце ночи милосердия!). Как говорит Маргарите Азazelло, "как же его не застрелить? Его обязательно надо застрелить".

Но все же, главное действующее лицо вставного романа — это не презренный Иуда, а Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, сложный, богатый образ. Какое же отношение имеет он к нашей действительности, вернее — к действительности Булгакова, к жизни 30-х годов нашего века?

В литературе не раз говорилось о "трусости" Пилата. В.Завалишин в упоминавшейся нами заметке о романе, пишет: "Поразительно, что Иешуа... в точном соответствии с апокрифами о Пилате, находит, что из всех пороков человечества самый отвратительный — это трусость". Положим, говорит это не кроткий Иешуа, а сам Пилат. На реплику Иешуа Га-Ноцри "...и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков", Пилат отвечает: "Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок".

Вряд ли поведение Пилата можно назвать трусостью, то есть пороком, органически ему присущим. Скорее всего, обвинение в трусости — это голос совести самого Пилата. Недаром он боится — боится! увидеть Иешуа, которого, по его приказу, ведут на казнь. Разве трусость причина этой боязни?

Как мы уже говорили, вина Пилата — это малодушие, проявленное им перед лицом зла; он предал злу добро, предал свою внезапно вспыхнувшую

любовь к добру. Это малодушие нетрудно объяснить. Прокуратор уже готов освободить преступника, за которым не находит вины, как вдруг в деле Иешуа обнаруживается нечто совсем иное, чем религиозные распри иудеев. И почудилось прокуратору, "как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: "Закон об оскорблении величества..." Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: "Погиб!", потом: "Погибли!"... Это не просто трусость; это ужас, доведший прокуратора до галлюцинаций. Знаком ли вам этот ужас, люди самидесятых и восьмидесятых годов нашего времени? Когда человек обложен кругом, и нет ему просвета, нет надежды на спасение, ни на какой-либо отклик извне... ни на какую-то справедливость... И нет ничего, кроме культа личности императора Тиберия... Сам Пилат неукошительно поддерживает этот культ — в мире, где надо бояться каждого собеседника, каждого подчиненного, случайного свидетеля твоих слов и поступков. Кончая ужин наедине с начальником тайной полиции, Пилат совершает последнее возлияние и громко произносит: "За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!" Знакомо ли вам это?

А ведь всадник Золотое Копье не был трусом. Но (привожу случайную, но верную цитату): "Весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что бояться трусы, а в том, что бояться храбрые". Вот этот "кошмар нашей жизни" и есть то, что спрятано в повествовании о трусости Пилата, и есть основа того зла, перед которым даже Сатану можно представить себе справедливым и послушным милосердию...

Это затаенное сходство и позволило автору так естественно перенести образ Пилата в наше время. Две тысячи лет сидит выдуманный Булгаковым герой (вспомним, что образ Мастера, автора "выдуманного" романа о Понтии Пилате, автобиографичен) и ждет милосердия, прощения, встречи с тем, кто переполнил его сердце раскаянием и любовью. Почему Иешуа до сих пор не простил Пилата? А это должен был сделать не Иешуа. По исторической концепции автора это должно сделать человечество (в лице Мастера). Две тысячи лет человечество не простило Пилата, считало его чуть ли не главным злодеем в евангельской трагедии. И вот, пришло

время прощения. Понадобилось, чтобы Мастер (по предложению Воланда) простил своего героя, освободил его от наказания, и тогда Иешуа смог, наконец, проявить милосердие и даровать Пилату желанную встречу... Кстати, это отвечает словам Христа в Евангелии, с которыми он обращается к апостолам: "Истинно говорю вам: что свяжете на земле, будет связано на небе; и что разрешите на земле, будет разрешено на небе" (Матф. 18-18). Почему же именно теперь стало возможным это прощение?

Сколько "Понтийских Пилатов" в наше время умывало руки и отрекалось от своих самых любимых и близких, отказывало им в помощи! Писатель взглянул на них и увидел, что это страшно. И простил их, как Мастер прос-

тил своего героя. Не тех, конечно, кто извлекал выгоду из чужой беды, кто и сам толкнул на беду... нет, тех несчастных, которые малодушно отступили перед бедой, которые переходили на другую сторону улицы, завидев ошельмованного друга... но терзались и страдали. Как поставить им в вину их трусость? У кого в наше время хватит духу осудить человека на две тысячи лет страданий за бессилие перед властью? Может быть, и сам Булгаков знал таких — своих близких, отступившихся от него, когда его травили и преследовали? И он простил малодушных.

В этом и видится причина того, что история о Пилате попала в роман о нашем времени; это и объединяет оба сюжета.

Роман о Понтии Пилате — это художественно-развернутая притча о нашей действительности, о малодушии и отчаянье, о скрытом противостоянии злу, о явной и преступной ему покорности. То, о чем автор не мог писать прямо хоть умри. Что он завуалировал, замаскировал, оставив для нас только знаки, стрелки, указующие путь к разгадке. И какие блистательные формы приняла эта маскировка!

Потому что давно уже сказано: даже если истине затыкают рот, то глаза ее сияют, как звезды.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

А. Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРЗАВЦА

МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ
ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Сергею Есенину и Александру Кукикову

I

Справка о Быстрицком Юрии Павловиче и о его записках

Не думаю, чтобы Юрий Быстрицкий посетовал на открытость моего заглавия. Как часто в минуты своей тяжелой болтливости любил он повторять: "Если бы у всей послевоенной сволочи было бы свое собирательное лицо — поверьте, никакие моралисты не разлучили бы меня с вечностью"...

Мечтательный, как убийца, влюбленный в сладости, как женщина, на всех этапах изумительной карьеры он тщательно холил свои узкие белые руки с перстнями на безымянных пальцах и в самых рискованных положениях старался оставаться безупречным джентльменом. "Я люблю деньги — потому что только деньги дают возможность быть джентльменом"...

В общем, это был человек, которого никто не любил.

Говорю "был", потому что какой-то верный голос шепчет мне о его долгожданной смерти. В зацветающих ли лугах английского нагорья, на дюнах ли Нормандии или еще где — куда только ни швыряла, ни метала судьба Юрия Быстрицкого — старый добрый офицерский наган нашел наконец правильное применение и — жестокие узкие губы, громадные мечтательные глаза, маленькие девичьи уши — все это развеялось, сгорело, исчезло.

В нашей общей унылой комнате, в нашем общем засаженном саквояже нашел я эти бесконечно разрозненные, бесконечно запутанные записи трагического существования. Ничего не прибавляю, ничего не изменяю, а особенно ничего не выпускаю. Если он жив — мораль его убьет; если он мертв — мораль его заставит встрепенуться от злости, воскреснуть и снова потянуть ненавистную канитель. Tout abregé d'un bon livre est un sot abregé...

”Хорошей” — книгу Юрия Быстрицкого можно назвать в том смысле, как хорошо все то, что исходит от людей, рисковавших своей головой и не жалевших чужих голосов. ”Хорош” был бы дневник адмирала Колчака. ”Хороши” были бы записи террористов-смертников. Впрочем — и этого не нужно скрывать и с этим вряд ли стоит бороться — выживающее большинство предпочитает скучать иначе.

Берлин, 23 февраля 1922
А. Ветлугин

II

О, сверкающее ртутью платье...

Я становлюсь животным мечтательным. Когда-то — еще и гимназии не было, и доктор Купферман еще пленял меня рассказами о подвигах своих в войну семьдесят восьмого года — я любил больше всего на свете иллюстрированные проспекты паровозных компаний. С благоговением твердил непонятные слова: ”имеется собственная динамо-машина”, ”вдоль всего спордека — для послеобеденной снесты расставлены специальной конструкции лонг-чезы”, ”в баре клиенты Кэнар-Лайн найдут несравненные коктейли”... И я слюнил бархатистые истрепанные страницы и во рту было сладко, как от предчувствия припрятанной крафтовой конфеты, и ночью я бредил коктейлями, лонг-чезами, таинственным Кэнар-Лайн. Коктейли снились маленькими человечками в кружевных камзолах и бархатных штанах; лонг-чезы хихикали и потирали сморщенные ладони — в них я узнавал старых друзей гномов. Но самым изумительным был Кэнар-Лайн. Громадный старик с бородой Алладина, он просовывал голову в люки потолка и по его желанию лонг-чезы становились добрыми и протягивали мне коробки конфет, груды пистолетов, мешочки золота.

Доктора Купфермана уже десять лет как снесли на тенисное еврейское кладбище — и шапка с лоснящимся верхом, с выцветшим красным околышем, предмет его тихой величавой гордости, пропала неизвестно куда. От лежания в лонг-чезах у меня и сплин, и геморрой; от питья коктейлей дрожат руки и сердце замирает: раз, два, три, пауза роковая, четыре, пять, шесть, снова пауза, а все вместе *angina pectoris*. Звучно, но неприятно. Не оправдал надежд и Кэнар-Лайн. Видит Бог, как мало подарков получил я от него за годы шатанья...

И лишь мечтательность слюнявого мальчика в бархатных штанишках снова возвращается. Обрывки фраз, отзвуки музыки заполняют паузы предательского пульса.

”О, сверкающее ртутью платье, которое развеивается на поворотах крепостных сводов”...

Какое платье? Где и когда в моей жизни поворачивали крепостные своды? До изнеможения напрягаю память, до боли тру лоб, ни черта... Главное, фразу-то знаю. Вычитал ее еще в той зелененькой книжке, что попала мне в городе Курске, на вонючем Ямском вокзале... Но почему она меня преследует? Ирина Николаевна платье, сверкающих ртутью, не носила, любила простоту больших кокоток: гладкое, черное, с глухим воротником — запомни и поди сюда!

Когда душа в синяках, когда от Галатских лимонадных звонков и отвратительной дешевки европейской Перы ползет изжога, спирают спазмы, стучит в висках — сажусь в поезд, тяжело перемалываю двадцать четыре минуты гулко переезда, вылезая в Арнаут-Кей и по ухабистым мостовым, мимо чахлых палисадников и вонючих греческих домишек, добирюсь до поплавка. Там хлопаюсь на траву, свешиваю голову

в обрыв и до самой ночи смотрю как синее, темнеет, зажигается Мраморное море, как в далекой дали огоньками мачт обозначены корабли, уходящие туда... сквозь Дарданеллы, в желанную милую Европу. Когда же совсем близко, что кажется прыжок и был на палубе, доносясь звуками шубертовского зазывающего марша, на всех парах проходит нарядный итальянец... какая жестокая буря поднимается в моей обворванной, прокуренной, заплеванной душе!

Мне тесен воротник, мне мерещится астма, мне изменяет дыхание — и хочется зарыться головой во что-то ласковые колени и выплакать всю свою тридцатидвухлетнюю жизнь, рассказать день за днем, не утаить ни единого часа...

Длинноносые греки, поужинав, уходят с поплавка, расплагаются на траве и спорят о Венизелосе. Шустрый греческий газрон подает таинственные знаки даже напротив — калитка открывается и жирная накрашенная женщина, покачивая исполинскими бедрами, извергает в прозрачный ночной воздух липкую волну одуряющих ароматов. Гарсон складывает передник, одевает ”здравствуйте-прощайте” и галантно семенит навстречу своей даме...

До полуночи — из кустов, с поплавка, с соседних скамеек доносятся звуки поцелуев, гортанные непонятные слова. Кто-то заклиняет, кто-то сопротивляется, кто-то грозит, кто-то сдается. А с проливов дует жаркий спертый ветер, от которого кровь густеет и движется толчками.

В двенадцать двадцать семь последний поезд. На площади вокзала Сиркеджи, не знающие ни сна, ни отдыха уличные торговцы жарят мясо и методически режут хлеб. На балкончиках кофеен дремлют старики, тихо скользят тени в фесках, беззвучен бессонный Стамбул.

Играет и пляшет Галата. Лимонадные будки, веселые дома, освещенные рестораны заывают трескучими звонками; голые маленькие девочки с накрашенными губами и развевающимися волосами за ноги хватают горланящих англичан.

В номере нестерпимо жарко, хотя раскрыты оба окна. На простынях стаи клопов, хотя честно израсходована коробка персидского порошка. В грязном вонючем умывальнике шумный праздник проворных тараканов. Я раздеваюсь, в одной рубашке подхожу к окну, долго созерцаю улицу и белый парусными лодками порт. Потом отупевший от жары, звонков, международной ругани, примасиваюсь у колченогого стола и пишу ненужные записки нелюбимой забытой жизни.

За тонкой перегородкой стонут от любви кровати и с треском вылетают пробки...

III

Дом детства

1.

Городишка наш степной, воровской и шустрый. Когда железную дорогу строили, инженеры запросили обычную промессу. Купеческое сословие заупрямилось и шиш показало. Инженеры, люди просвещенные, сослались на неудобство прокладки профиля и обошли нас на целых пять с половиной верст. Только потом уж какое-то высокое начальство проезжало, с купцами обедало, инженеров матом обложило и порадовало нас веткой. Купечеству тоже пальца в рот не клади. У одних деды — беглые, с Волги, с Оки дралу давали, пробирались Новороссийскими степями и открывали лабазики, лавченки, б.....и

У других — и таких большинство, предки — персидские армяне. Ковыряли ножом на Кавказе, тюрьмы не стали дожидаться, и тоже в степи. Сперва с обезьяной ходили по дворам

купеческим и дворянским. "Эй, Машка, покажи, как пьяная баба валяется..." Машка оскаливала острые желтые зубы, худошавыми лапами чесала зад и по грязи каталась. Потом заморские гости сообразили, что обезьяна зверь не большой, ничего за ее спиной не упрячешь — и завели медведя. Поставили клетку, за вход по пятаку. Медведь ревет, пруты ломает и воздох портит, ибо на всю медвежину братию крепка поговорка: "Зарекался медведь в берлоге не..." Купцы посмеиваются, краюху, обмазанную дегтем, в клетку просовывают, а под клеткой (потом уже выяснилось) был потайной ход в погреб, где персидскими армянами, специалистами и любителями, выделялись государственные ассигнации, сторублевого и пятидесятирублевого достоинства... Пока начальство раскочалось и разнюхало, каким запахом из медвежьей клетки пахнет — ассигнации персидские докатились до Архангельска и Красноярска, Варшавы и Владивостока... Армяне понастроили трехэтажные дома, пооткрывали большущие магазины. Когда у человека дом да магазин впридачу... его как-то несподручно в тюрьму сажать... Начальство тем более свою долю сполна востребовало. У армян дети повыврастали, в университет поступили... Город рос и рос. Появились банки, затрещал телефон, меценат армянский театр открыл. Так и пошло. Только надолго осталось прозвище — "медвежьих деньги". Сядем, бывало, обедать, мать начинает кряхтеть, что у Поповьянца на масло гривенник прикинули. Отец кулаком по столу двинет, прибавит крепкое матерное слово: "Ничего, ничего и на медвежьих деньги, так их и так, своя управа явится..." Любил отец сочный лексикон, хотя и окончил Санкт-Петербургскую военно-хирургическую академию и в дипломе у него значилось, что упомянутый лекарь Павел Быстрицкий есть "vir doctissimus et sapientissimus", хотя и издал он немало брошюр, описывавших его неслыханные успехи в деле излечения страждущего человечества. На восьмом году, когда вошел во вкус чтения и поглотил все книги, имевшиеся в доме от Елены Молоховец до 26 правил шведской гимнастики, раскопал я однажды у матери на пузатом ореховом комодике брошюрку отца. Читаю и ничего не понимаю. "Весной 1895 года обратился ко мне пациент З. Сложения сильного, в легких и сердце процесса не замечено. Жалуется на отсутствие правильных сношений..."

— Папа, что такое правильные сношения?

— Это значит, что дуракам нос совать куда их не звали, не полагается. А если они суют, им уши обрывают...

Мать вместо ответа за ухо дернула и руками замахала; дворник Тимофей, косноязычный, оспой изрытый белорус, поковырял в носу, сплюнул, подумал и заорал на вшивого кобеля Бульку:

— Ты, что ж, волк тебя зарежь, крысы изо рта кусок вырывают, а ты за кусками гоняешь...

А больше не у кого спрашивать, не у кухарки же Агафы? Да она все равно с утра пьяна и грозит на обед плюнуть и в монастырь уйти...

Скучно на нашем дворе, петрушки не заходят, нищих метлой выгоняют, дагестанских мастеров, лудильщиков самоварных сперва пускали, и я с трепетом их чекмени разглядывал, но прошлой осенью один чумазый в чекмене и папахе, пока самовар чинил, дюжину ложек Фаберже с материнского приданого стянул. С тех пор ворота на запоре, одни крысы из сарая в погреб перебегают, да Булька, на крыс поглядывая, лениво из конуры ворчит... Играть мне не с кем, не во что, и родители мои игры не поощряют. Нашел я как-то на чердаке кожаный футляр от зонтика, напихал в него бумаги, привязал

гвозди и в диком восторге сам с собой начал в войну играть. Будто неприятель в наши закрытые ворота ломится, а мне поручена защита крепости. Булька лает неистово, бежит за мной, я размахиваю импровизированным ружьем, строю полки, отдаю приказания, топаю по лестнице так, что гнилой щепень пылью подымается, запираю и отпираю ворота, делаю вылазки, обливаю смолой вражеские колонны, отбиваю беспрестанные штурмы.

Нет, на нашем дворе, — думаю я, носясь по лестнице, — не так уж худо. О, здесь много тайн! Что, если начать раскопки в углу, под сорным ящиком. Быть может, там зарыты сокровища или имеется потайной ход к складам оружия. Последняя мысль овладела мною в момент, я швырнул футляр от зонтика, выпросил у сонного Тимофея лопату и пошел копать. Картофельная шелуха, коробка из-под сардин, головка протухшей капусты... Ничего, ничего, я не унываю. Поначалу всегда трудно клад найти, потом, смотришь, и заблестит...

В это время мать вышла на крыльцо и шипящим шепотом сказала: "Юрий, ты, что ж, о двух головах? У отца прием, а ты так развозился, что стекла дрожат. В сору копаешься, жаль, что штаны чистые. Пошел бы лучше книжку почитал. От игры ничего путного не будет. Ты, мальчик, должен помнить, чей ты сын. Твой отец — врач, первое лицо в городе. Иди сейчас же наверх и руки вымой."

2.

Гости к нам редко ходят. У отца характер тяжелый, мать расхотелась на угощение не любит. По воскресеньям является доктор Купферман, снимает шапку с красным околышем, вытирает лысину клетчатый с горошинами платком и говорит: "А пророс, коллега, я вам собирался рассказать любопытный случай..." Отец мой Купфермана презирает и за глаза вралом зовет, но из уважения к купфермановским семидесяти двум годам и чину надворного советника рассказы выслушивает. Рассказов у Купфермана три: как к нему, в тысяча восемьсот третьем году пришел солдат с иглой в глазу и как он иглу магнитными щипцами вытаскивал; как в битве под Филиппополем он на поле битвы сделал простым ножом вскрытие брюшины; и как, наконец, в году семьдесят четвертом в Париже у Шарко он читал доклад, вызвавший овацию французских коллег. Со времени доклада он полюбил слово "а пророс". У Купфермана сахарная болезнь, а потому по воскресеньям у нас вместо сладкого антоновские яблоки и разговоры о проценте сахара в купфермановской моче. Причем и отец мой, и Купферман в раж приходят и никак насчет каких-то нитей сговориться не могут. Отец краснеет, пыжится, рвет усы и говорит: "Простите, коллега, но такой игнорантизм в ваших устах." Купферман хватает шапку, теряет пенсне и возмущенно хрипит о самонадеянных молодых людях... Шапку у него отбирают, самого его с величайшими трудностями снова усаживают за стол, а я незаметно исчезаю, для "близира" кручусь несколько секунд по двору, шмыг в калитку и мчусь туда, куда мне ходить строго запрещено. За квартал от нас уже степь. На траве и вдоль грунтовой дороги разбиты лари, балаганы, шалаши. Так называемый "Новый Базар". Крестьянские возы скрипят, зеленеют капустой, краснеют помидорами, бураками, морковью. Казачки пучеглазые, курносые, с обветренными лицами приносят кур, индюшек, яйца, масло и во весь голос расхваливают свой товар.

— Подь, у вас, мать моя, в хороде в жисть не достанешь...

3.

Птицы кудахчут, лошади ржут, а в канавах уже разлеглись пьяные мужики. Ибо тут же на базаре помещается здание с двуглавым орлом — питейная лавка. Сюда-то я и бегу повстречать своего покровителя и приятеля Сашу Богуславского. Саша знает все и про все рассказывает. Он и правильные сношения объяснил мне и многое другое, о чем дома ни гу-гу. Саше лет тридцать, а, может, и все сорок. На главные улицы он не любит ходить, там лабаз его отца, богатейшего купца, который сына за пьянство из дома выгнал и в духовной наследства лишил. Если б не подачки знакомых, Саша бы с голода пропал. С утра он уже толчется на кухнях купеческих. Там краюху хлеба с маслом дадут, там кофею хлебнет, там пообедаст, а там и двугривенный выпросит. Монета закладывается за нижнюю губу (чтоб товарищи в дороге не отняли) и Саша мчится в монопольку. Шкалик он выпивает без закуски и посуду прячет в карман. Когда двадцать пустых наберется — в обмен один полный дают. Двадцати шкаликов он еще никогда не собрал. То на улице упадет и разобьет, то под вечер проберется к отцовскому двору и швырнет шкаликом в окно кабинета, где старик перед образами на счетах щелкает, а то у базарной торговли за порожнюю посудину выпросит ломоть ржаного хлеба. С Сашей мы еще с прошлой зимы подружились. Он к нам, бывало, всю зиму ходил, и мать моя с разговорами бесконечными дарила ему то старые отцовские штаны, то пару вконец истоптанных ботинок. А кухарка Агафья, когда мать в комнаты уйдет, схватит краюху хлеба, маслом помажет, сунет второпях Саше в руку и говорит: "Иди ж, иди, окаянный, когда тебя черти в ад унесут..." Саша шепотом о чем-то еще пробаует ее просить, но тут Агафья возмущается и его за дверь выставляет. Раз ни Агафьи, ни матери дома не было, я один в кухне сидел и на безмене кубики свои взвешивал. Саша заглянул в окно, увидел меня и пальцем поманил:

— А что, малыш, если бы в этот шкаф заглянуть...

Я смело раскрыл Агафьин стеной шкаф и любезно пригласил для его осмотра Сашу. Саша вихрем метнулся к верхней полке, схватил бутылку, запечатанную сургучной печатью, потрепал меня по плечу и был таков... Вот крику было: Агафья хотела в полицию идти, мать на Тимофея орала, что это он не досмотрел, а отец строго-настрого приказал Сашу больше ни под каким видом ко двору на пушечный выстрел не подпускать. Мне без Саши немоготу, не с кем поговорить, не у кого насчет непонятных вещей справиться. Условились мы с ним сборным местом считать монопольку. А чтоб никто меня не заметил, я сперва по базару долго хожу, будто пряник высматриваю, и обходом через две улицы к пьяному зданию добираться. За обедом, когда мать заглядится в окно, не идет ли из лечебницы отец, я сейчас же, как говорит Саша, "полным кентером", в карман либо котлету, либо кусок селедки. Кроме того, по Сашиному совету в пятом часу дня, во время отцовского отдыха, отправляюсь в кабинет и роюсь в карманах парусинового пиджака, куда отец частенько медь бросает.

— Пятаков никогда не бери, — учит меня Саша, — пятак на теле чувствуется. Ты норови две штуки по копейке или один трехкопеечник...

Я так и делаю, и ничего, сходит. Но зато и Саша в долгу не остается. По два часа он мне рассказывает о городах, где они с отцом своим по делам бывали, о пароходах, на которых они ездили, о театрах, о гаванях, об устройстве хлебных ссылок. Чего-чего только не видел Саша. Я ему раз принес прос-

пекты свои драгоценные, так он посмотрел и оказывается, на этих самых пароходах много раз ездил.

— Погоди, погоди, Юрий, вот отец мой помрет, все деньги мне оставит, ты к тому времени вырастешь, и поедем мы, братец ты мой, в город Каир. Там фиников в лавках не покупают, а прямо с деревьев рвут, там на ананасы и плевать не хотят, а дынями одних ишаков кормят...

В городе Гамбурге Саша также обезьяну видел, которая во фраке и манишке ходила, падеспань с дамами танцевала и рыбу без ножа ела. Саша уверяет, будто он эту обезьяну за тысячу двести рублей купил и в отдельном вагоне вез, только на русской границе пришли жандармы, обезьяну отобрали и на документ печать с закорючкой поставили... Есть у Саши один товарищ, с которым они вместе ночлега ищут. Длинный, нескладный, веснушчатый, бородой до глаз оброс, ходит и летом и зимой в рваном ватном пальто со съеденным молью воротником. Штаны у него редко бывают, большей частью он пальто на голом теле носит. Сиделец монопольки называет его почему-то "Товарищ Клейстеров", хотя фамилия его Гнилозубов и сам он не из рабочих, а из черкасских чиновников.

— Товарищ Клейстеров, нет ли у вас новеньких карточек? — кричит сиделец, — я бы вас коухой угостил...

Гнилозубов роется в карманах, достает засаленные карточки и протягивает сидельцу. Тот как захочет... слюна брызжет. Смотрит не меньше получаса, пока босые покупатели шуметь не начинают... И наливает Гнилозубову коуху особой перцовой, которая в банке из-под варенья содержится. Один раз, когда Саши не было, а ждать его долго пришлось, я Гнилозубова робко спросил:

— Нельзя ли мне ваши карточки посмотреть.

Он на меня грозно метнул —

— А что ты мне за это сделаешь...

— У нас сегодня холодная телятина на ужин, хотите, я вам кусок украду...

— Телятина, говоришь... Ну, ладно. Не люблю я, правда, телячьего запаха. Не то навозом, не то мамкой потной пахнет. Ну уж для Сашиного приятеля...

Долго я разглядывал карточки и никак не мог понять, почему сиделец так смеялся. Что ни карточка — голые люди, что-то друг с другом делают, а что — неизвестно. Гнилозубов стал было объяснять, но видит, я глазами хлопаю и лоб тру, бросил и сказал:

— Вырастешь, за девками бегать начнешь, все поймешь...

Саша пришел, про карточки узнал и очень рассердился:

— Ты, Гнилозубов, дурак, в ребенка половые понятия другим путем надо внедрять...

— Что такое половые понятия? — спросил я Сашу.

Саша покряхтел, поиграл, позвенел пустым шкаликом и понес такую околесину, что я домой, как во сне ушел.

К отцу с матерью с этого дня я начал относиться враждебно. Все они мне врут и слушать их больше невозможно.

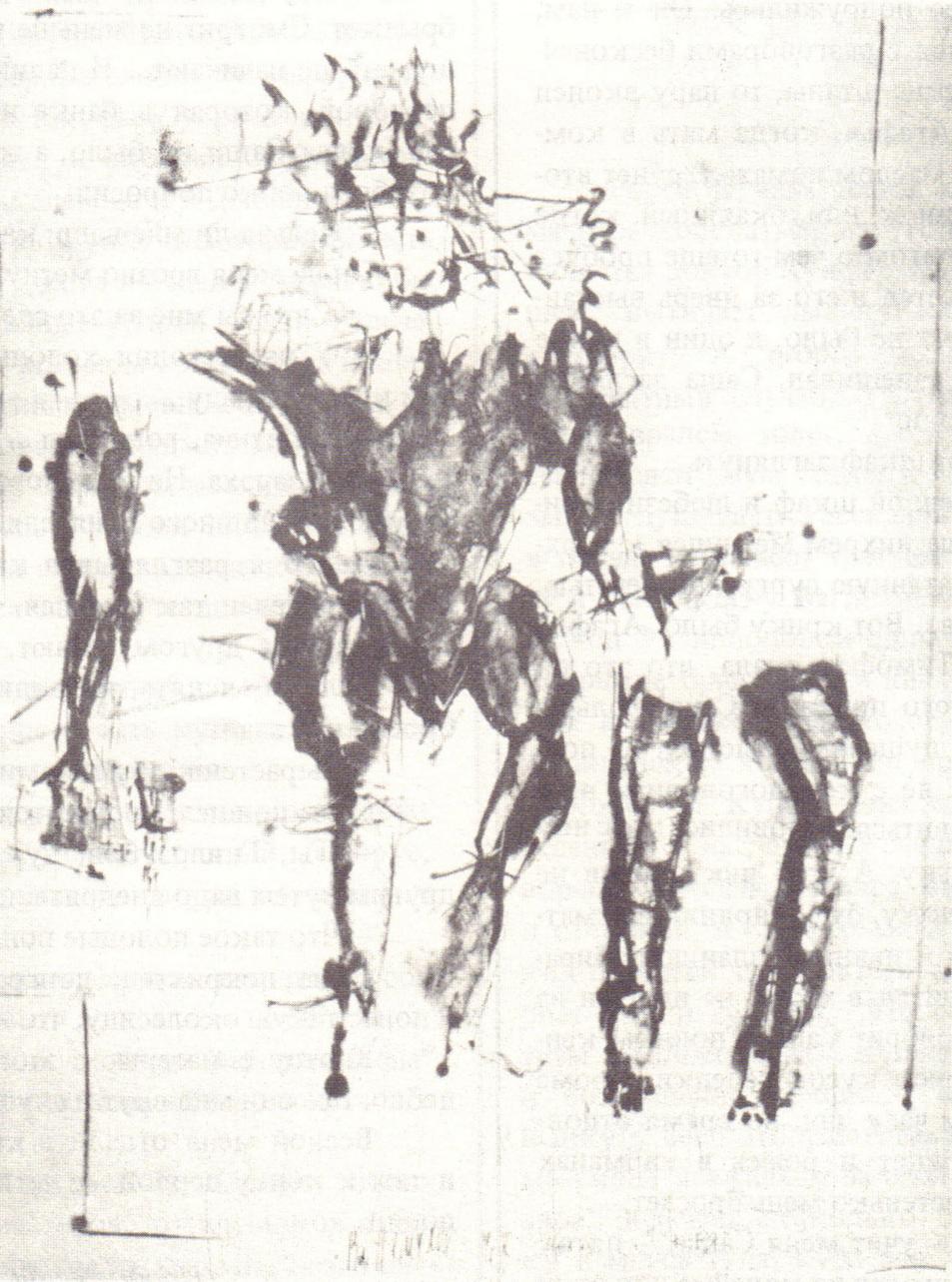
Весной меня отдали в казенную классическую гимназию и там к концу первой же четверти я все узнал и все карточки понял.

(Продолжение следует)

Советская Краткая Литературная Энциклопедия сообщила об авторе этого романа лишь следующее: Ветлугин — псевдоним Владимира Ильича Рьндзюна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 17



«Подцензурной литературы вообще не может быть!!.»

Интервью с Юрием Милославским



— Недавно было опубликовано в "Стрельце" интервью с Сергеем Юрьенем. Его слова по поводу конфликта поколений, в частности, в вопросе изображения свободной любви или, скажем, секса, вызвали негативную реакцию со стороны некоторых читателей, да и писателей тоже. Юрьенен объяснял, что писатели его поколения, находящиеся на Западе, более раскрепощены в этом вопросе, ибо советская литературная жизнь не успела их закрепить и превратить в пуритан. Поэтому они, мол, чувствуют себя раскованней своих старших коллег. Один из них заметил по этому поводу, что отнюдь не все сверстники Юрьенена разделяют его точку зрения на необходимость подробного изображения свободной любви и предложил назвать хотя бы одного крупного западного писателя,

который увлекался живописанием сексуальных сценок и придавал им столь большое значение. Что Вы думаете по этому поводу?

Вы мне задали целый ряд вопросов, целую серию. Я буду отвечать по порядку. Первое — конфликт поколений. Такого конфликта не существует. Я, во всяком случае, никогда с этим явлением не сталкивался. Думаю, что явление это чисто внешнее, на литературный процесс не распространяющееся. Я вообще считаю, что литература вневременна, и на одном и том же отрезке остального литературного пространства все живы. Вроде как у Бога все живы, так и в литературе — все живы. Я пишу и чувствую так, как одновременно со мной пишут и Андрей Платонов, и Булгаков, и Гомер, и Шекспир... Нет, я не вижу никако-

го конфликта поколений. Это — первое. Теперь об изображении секса в литературе. На мой взгляд, это всего лишь прием. Каждое литературное время рождает свою сумму литературных приемов. Обратимся ко временам Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Те сексуальные сцены, которые были в их произведениях, звучали не менее смело, если не более, для тогдашнего читателя, нежели то, что делают писатели нашего поколения звучит для читателя современного. Я совершенно уверен, что некоторые эротические моменты у Достоевского звучали, если Вам угодно, более сексуально для того читателя, чем наши сцены для нынешнего. Оттого, что мы называем какие-то вещи своими именами, ничего не меняется. Это просто прием. Можно называть, а можно не называть. Например, Саша Соколов не называет, Фридрих Горенштейн не называет, Эдуард Лимонов называет так, я называю иначе, Юрьенен называет совсем иначе. Это совершенно несущественная проблема. Здесь есть только одна тонкость. Вы упомянули советскую цензуру, советские творческие условия. Там произошло нечто абсолютно другое. Там происходило убиение литературы вообще, ее выводили, так сказать, за пределы бытия — это была главная задача. Не то что заставить писателя врать или писать полуправду, его заставляли писать полную бессмыслицу. Была полная расстыковка с жизнью. Выдумывались какие-то несуществующие конфликты. Мне запомнился знаменитый пример у Солженицына: о комсомольце, который пускал под откос вражеские поезда и думал о том, является ли он комсомольцем, ежели он не платит членские взносы. Великий конфликт нашего времени. Поэтому и секс, явление жизненное, как бы выбыл из литературы. Ведь ничего более неприятного и страшного для всякого рода коллективистских диктатур, частным случаем которых является советская власть, чем жизнь, реальная жизнь, нет. У Орвелла, например, есть замечательный прокол, так сказать, в пространстве, пророческое предвидение: о позорности и постыдности сексуальных отношений в стране нового типа: надо добиться того, чтобы люди перестали желать, сделать так, чтобы люди не испытывали никаких страстей. "Дело не просто в том, что половое влечение создавало замкнутый мир, недоступный Партии и подлежащий потому уничтожению, — говорит Орвелл устами героини антиутопии "1984". — Дело прежде всего

заклучалось в том, что половой аскетизм порождал желательную Партии историю, которую можно было превратить в военную лихорадку и в поклонение вождям". Это существенная задача. То же самое и советская власть. Она была против секса в литературе, так как это отвлекало бы людей от всяких коллективистских идей. А секс-то — дело индивидуальное. И вдобавок никак не проконтролируешь. Ну, ладно, обращусь к последнему Вашему вопросу. Кто из крупных западных писателей использует этот прием, то есть изображает секс в литературе? Из современных, к примеру, Генри Миллер.

— Но это, пожалуй, единственный пример.

Мне сейчас трудно вспомнить. Я просто по роду своих интересов не так уж вникаю в западную литературу. Давайте лучше вспомним российских писателей вполне крупных. Вот, например, есть высокой степени пронзительности сексуальные сцены в творчестве Пантелеймона Романова. Да и Россия знала, наконец, своего сексуального писателя, если так можно выразиться, который специализировался на этом вопросе — Анатолия Каменского. Мы просто совершенно забыли об этом. Мы забыли свою собственную литературу. У нас все еще нет времени, к примеру, заняться изучением творчества Георгия Миллера. Это был очень интересный и значительный писатель, который предвосхитил все поиски в сексуальной теме современной русской литературы. И это еще не все. У нас был автор, который, ну, если угодно, злоупотреблял всякого рода перверсивными сценами — Пимен Карпов. Это довольно близко к нашим дням, десятые годы. Я это все говорю к тому, что кое-кому кажется, что мы приехали сюда и сделали великие открытия. На самом деле за пятьдесят лет до нас писали такое же, да и похлеще, причем не где-нибудь, а в русской литературе.

Если говорить о спорных вопросах, Вы, правда, начали с того, что их нет, но они, по-моему, существуют, то вот один из них: судьба русского писателя на Западе. Зиновьев на судьбу эту смотрит пессимистически. Он считает, что русский писатель в отрыве от России творить не может. Что Вы думаете по этому поводу?

Очень к месту процитировать тут слова Томаса Манна: "Немецкая литература находится там, где я нахожусь". Русская литература находится там, где

мы находимся. Я помню хорошо фразу из доклада Зиновьева на миланской конференции "Континента", где он сказал, что в России писатель мог выйти на угол, прогуляться с полчаса и набрать материала на роман, на эпопею, а здесь... Мне не хочется вступать в принципиальную полемику, но полагаю, что подобный взгляд — глубокое заблуждение. Я думаю, что нет никаких оснований для пессимизма. Трудно, конечно, жить в эмиграции, неприятно, тяжело, но литература от этого вовсе не обязательно должна пострадать. Я, скажем, очень тяжело прожил десять своих эмигрантских лет в Израиле. Но твердо знаю — не будь этих десяти лет, я бы ничего не написал!

Оставаясь в Советском Союзе?

Да. Я там и не писал.

А почему?

Не писалось. Так у меня сложилось. Вначале писал стихи, а потом вообще ничего. К прозе пришел только в 1978 году в Израиле. Роман "Укрепленные города", который вышел в издательстве "Москва — Иерусалим" в 1980 году — это моя первая вещь.

Ну, третий вопрос тоже дискуссионный. Юрий Мальцев считает, что в Советском Союзе ничего значительного создано быть не может, во всяком случае, не может быть опубликовано. Другие писатели думают по-иному. А Вы?

Опуская всякие частности, я вполне согласен с Мальцевым. Абсолютно. Подцензурной литературы вообще быть не может, особенно при такой форме цензуры, которая существует в Советском Союзе. Конечно, любят ссылаться на царскую цензуру, но все это шуточки, детский лепет. Тогда был какой-то круг тем, (кстати, очень ограниченный, я напоминаю об этом всем тем, кто кивает на жестокость царской цензуры), по поводу которых высказываться не следовало. А если высказываться, то только в определенном ключе. Повторяю, круг этих тем был чрезвычайно мал. Кого-то и он, наверное, стеснял, Но не знаю кого. Грубо говоря, я не вижу влияния цензуры на русскую классическую литературу.

Я не знаю, о чем бы писали Александр Сергеевич Пушкин или Лев Николаевич Толстой, если бы не было цензуры.

Я не чувствую влияния цензуры на их творчество. Советская же цензура отнюдь не только цензура. Советское властвование (употребляю этот термин в надежде, что всем ясно, что имеется в виду) изгоняет литературу из жизни вообще. Она утверждает не то что какого-то опре-

деленного рода, вида, формы литературы или запрещает какие-то темы в литературе, — она пытается создать муляж, макет литературы. Как мавзолеей, скажем, — макет бессмертия. Или, как Лосев однажды сострил: "Попытка цензурировать смерть". Так вот, литература советская — просто макет, пустышка из папье-маше. Это не литература. Никакая. В том числе и та, в которой, как считается, хоть полуправда какая-то есть, и тому подобное. Я ничего из этой литературы читать не могу. У меня ко всему этому физическое омерзение. Я совершенно не в состоянии читать советских книг, вышедших, по крайней мере, уже после того времени, когда советская власть всерьез взялась за литературу. Она взялась, правда, довольно поздно, с тридцатых годов, но взялась по-настоящему.

Но уже в наше время в Советском Союзе был опубликован, скажем "Матренин двор" Солженицына...

Это совершеннейшая случайность.

Или "Мастер и Маргарита".

Булгаков писал свои романы, когда советская власть еще не взялась всерьез за человеческую личность. Времени на это не было. Человеческую личность подвергали соответствующей обработке в период с тридцатых годов по наше время. Это процесс длительный. Михаил Булгаков — человек старой русской культуры из старой русской семьи. Это был нормальный еще человек.

Но Пастернак в наше время написал "Доктора Живаго".

Я считаю, что это плохая книга.

Может быть, но это свободная книга.

Нет, чем она свободная? Тем, что ее нельзя было в СССР напечатать?

Потому что он написал то, что думал.

Я не знаю. Возможно, что мысли уже были искажены многолетней обработкой.

Ну, хорошо. А вот все творчество Солженицына там?

Солженицынские вещи, солженицынская личность — это все-таки явление достаточно редкое. И он, так сказать, не профессиональный советский писатель. Это очень существенно. Он пришел в литературу из абсолютно иного мира.

А Шаламов?

Шаламов — человек старого времени. Он родился в 1907 году.

Да, но писал-то он в Советском Союзе тем не менее.

Он писал в Советском Союзе не будучи сам включенным в советскую жизнь.

Верно. Но почему Вы исключаете возможность того, что какой-то человек, который не хочет становиться советским профессиональным писателем, именно чтобы не попасть в порочную орбиту, для себя пишет, в стол, как говорится, что-то значительное.

Такое возможно все меньше и меньше. Я, например, с глубочайшим интересом ожидал появления книжек из "Московского клуба беллетристов". Может потому, что я не очень кастовый человек, но хотелось мне прибавления людей в нашу когорту. Ну, и вот появились их вещи. Я, знаете, не преувеличивая, был просто на грани трагического черного разочарования.

Какие вещи Вы имеете в виду?

Я не хочу называть имен...

Ну, к примеру, роман Козловского "Мы встретились в раю..."

По-моему, крайне слабая книга. Вся она — отталкивание от советской литературы, как бы советская литература наоборот. Автор как бы говорит: нельзя писать об этом, а я напишу. Это игра.

Я с вами не согласен. Да и не только я. А как Вы относитесь к повести Козловского "Красная площадь", которая была опубликована в "Континенте"?

Не люблю, не признаю совсем.

У Вас все-таки начисто безотрадный взгляд на ситуацию. Вот Сергей Юрьенен ведет в нашем журнале рубрику "Литература метрополии: взгляд из Парижа". И он все же отыскивает интересные произведения, которые умудряются попасть на страницы советских журналов. Потом их там критикуют, проклинают, конечно, но они все-таки есть.

Конечно, могут существовать отдельные ценные явления, отдельные случаи, а литература...

С этим я согласен. Естественно, в тех условиях литература состояться не может. Я говорил именно об отдельных случаях.

А я говорю о другом. Дело не только в том, что подлинные вещи в принципе опубликованы там быть не могут. Они там и созданы быть не могут, в общем и целом. Случайности не в счет.

Но почему все-таки с Вашей точки зрения, человек, живущий там, талантливый и внутренне свободный, не может пусть не опубликовать, но написать что-то подлинное, значительное?

Советская власть совершила очень страшное дело. Главное страшное дело, касающееся писателя, заключается в том, что власть непрерывно заставляет его заниматься собой. То, что мы делаем, так

или иначе находится в тени советской власти. Мы все время перерабатываем в себе этот страшный поток тьмы, исходящей от режима. Это поражает самые жизненные органы литературы. Ломает ей стеной хребет. Когда умер Андрей Амальрик, то я в некрологе писал: "Советская власть сделала с ним самое страшное, что могла сделать. Она заставила его собой заниматься". Он, действительно, был талантливый человек, талантливый историк и оригинальный мыслитель, но он был вынужден заниматься какими-то совершенно безумными вещами вместо того, чтобы заниматься своим делом — историей. Это не значит, что свободный мир порождает гениев. По этому поводу едко и остроумно писал Наврозов. Разумеется, нет. Я опускаю это, как банальность. Мы говорим о том, что происходит на нашем страшном огороде, где растут красные овощи, как Юрий Кублановский написал. Помните, у него "Склад для красных овощей"?..

Вы считаете, что в результате многолетней обработки творческих людей советской властью, происходит или уже произошла кастрация талантов?

Человек не может жить в постоянном стрессе. Писатель тоже. Вот у Шаламова, которого Вы упомянули, показано, как на самых низких, самых страшных ступенях лагерного ада человек все-таки разрушается. Советский человек, впрочем, нет, человек, живущий в Советском Союзе, ибо я утврждаю, что никакого "хомо советикуса" не существует, никакой принципиальной разницы между русским, скажем, и английским, немецким и французским человеком нет. Поставь англичан и французоз в те же условия, и они будут делать то же самое. Так вот, повторяю, человек не может жить под постоянным давлением. Человек в этих условиях ежедневно совершает всякие — мелкие и крупные — клятвопреступления. Ежедневно: с утра до ночи. С детского садика до гробовой доски. Вы знаете, человек не может безнаказанно грешить: идти на выборы, на которых никого не выбирают, петь песни, в которых ложь, говорить не то, что думает — и все это безнаказанно. Такого не может быть, чтобы все время делать мерзости, пакости — и безнаказанно. Все кончается раком души, для писателя — кастрацией, творческой импотенцией.

Я во многом согласен с Вами, но не совсем. У Вас очень крайняя, я бы сказал, безжалостная точка зрения. Однако

не хочу спорить, ибо мы уже дискутировали. Но, следуя до конца Вашей логике, нужно сказать, что русские писатели, оказавшиеся на Западе, обрели здесь счастье. Бог их спас от бесплодия.

Горькое счастье. Но, конечно, счастье если только его до отъезда еще не окончательно как творческую личность угробили, если он приехал еще живой.

Судя по Вашим взглядам, даже и не стоит говорить о единстве литературного процесса в метрополии и эмиграции.

Конечно. В метрополии нет никакого литературного процесса.

А в эмиграции?

Мне о литературном процессе в эмиграции говорить трудно, потому что я его интегральная частичка. Не знаю. Нас тут как бы и очень много и очень мало. Это одна сложность. Другая сложность в том, что мы не подвергаемся читательской проверке. У нас же нет читателя. Мы все пишем друг для друга. Наш читатель остался в России, весь, за каким-то редким исключением. Это ужасная ситуация. Мы ведь даже не знаем, какое место занимаем, так сказать, в читательской иерархии.

Но с Вашей точки зрения: что происходит с литературой в эмиграции, меняются ли писатели для Вас интересные, которые приехали (Вы ведь, по Вашим словам, одно время были усердным читателем, здесь уже даже), появляются ли новые имена?

Новые имена, и интересные, конечно, появляются, но в целом о литературном процессе говорить все же затруднительно. Слишком мало времени прошло. Для литературы. Но я Вам приведу один поразительный пример из другого времени, из судеб писателей первой эмиграции. Самым популярным, занимающим первое место на страницах тогдашних толстых журналов русской эмиграции, был, причем, вплоть до Второй мировой войны, Марк Алданов. Кто сейчас о нем помнит? Почти никто. А это был писатель, на котором держался литературный истаблишмент той поры.

Ну, а Бунин?

Даже Бунин не занимал такого места. Он получил Нобелевскую премию, это — наша гордость. Тем не менее, именно Алданов является писателем, которого читали все и вся. Его роман "Ключ", например. Я говорю об Алданове, так как Бунин не эмигрантский писатель все-таки. Он приехал на Запад уже известным автором. Алданов же как раз эмигрантский писатель. Он первокласс-

ный публицист, таким его знали в России. Но как писатель он сложился в эмиграции. И вот даже здесь теперь его мало кто помнит, а уж в России не знают его совсем, нет его в обиходе.

Но сейчас эмиграция находится в другом положении с точки зрения связей с метрополией. К нам, в сталинскую эпоху почти ничего не попадало, и в первые годы послесталинской эпохи хоть и попадало, но скудно, очень скудно. В последние же 10-15 лет положение изменилось. Мы получаем рукописи оттуда, журналы и книги довольно широко проникают туда. И наш читатель, пусть малая часть его, все-таки то, что здесь публикуется, здесь читает.

Интеллигенция столичная и, может быть, не столичная.

А разве этого мало?! Но вернемся к литературному процессу. С Вашей, с писательской точки зрения, существует он в эмиграции?

Конечно. Он идет, без всякого сомнения.

Как Вы его оцениваете?

Об этом, по-моему, еще рано говорить. Но об одной нашей писательской беде я сказать могу: у нас в эмиграции нет литературной критики, ни в каком виде.

Хорошо, я спрошу по-другому. Что из появившегося в эмигрантской литературе за последние годы Вам близко?

Что ж, говорить о приятном — приятно. Я открыл для себя здесь в эмиграции ряд любимых мной поэтов. Я был просто счастлив, открывая их одного за другим: Цветкова, Лосева, Кублановского, Кынжеева. Сразу четыре поэта — это подарок. И ведь не только я их открыл.

Ну, а в прозе?

Все, что я любил там, я люблю здесь. Ничего не изменилось. Таких открытий, откровений, как в поэзии, не было.

Ваша литературная судьба складывается, в смысле публикаций, кажется, удачно?

Да. Я напечатал все, что написал. Жаль, что написал мало. Мои вещи публиковались в журналах "22", "Континент", в Вашем "Стрельце", недавно в "Русской мысли". Сейчас у меня выходит третья книга: "Рассказы" в издательстве "Ардис".

Все, что у Вас было написано, основывается на материале русском или западном?

Роман "Укрепленные города" — на московском и израильском. Рассказы, в основном, на русском. У меня есть

какие-то темы внутренние, и я их разрабатываю. И вот сейчас я пишу роман, действие которого происходит частично и в Европе.

Вы читаете на иностранных языках?

На английском и, естественно, иврите.

Вы знаете, конечно, оценку Львом Наврозовым современной западной литературы. Как Вы к этому относитесь?

Я Вам отвечу откровенно: меня этот вопрос сейчас совершенно не интересует. Я не прочел всех тех романов, которые прочел Наврозов, чтобы глубоко о них судить. Но мне приятна его творческая манера, как он все это подает, какие-то его позиции мне близки, и я вполне себе представляю, что это очень плохие книги. Те, которые я не читал, но о которых Наврозов пишет. Что касается большинства крупных западных авторов, чьи вещи я читал, то они мне ни о чем не говорят. Конечно, могут сказать, вот, мол, русский эмигрант, помещанный на своих делах... Но мне книги современных западных писателей в основном просто неинтересны. Безусловно, есть исключения. Очень я люблю Ивлину Во, близкий мне автор. Может быть, Вы читали, его переводили на русский: романы "Возвращение в Брайдсхед", "Пригоршня праха", "Мерзкая плоть" и маленькая повесть "Незабвенная" — черная, сюрреалистическая. Грэм Грин близок мне своей, на мой взгляд, лучшей книгой "Суть дела". Очень люблю я не детективные вещи (детективные тоже, но не так) недавно скончавшегося Жоржа Сименона. По-моему, замечательная книга "Президент". А "Негритянский квартал" просто близок к гениальности. А в целом современная западная литература... Не знаю... Большого впечатления не производит. И знаете, никогда я не мог читать многое из того, что делало погоду в среде советской интеллигенции, скажем, Германа Гессе. Неудобно в этом признаваться, но не мог я его читать. Может быть, он гениальный писатель, ничего плохого о нем я сказать не могу. Однако мне скучно его читать, я ничего не понимаю, то есть все понимаю, но мне неинтересно и поэтому — скучно.

Есть мнение, что мы у Запада должны учиться...

Это вызывает просто смех. Глупая постановка вопроса — кто-то у кого-то должен учиться. Бессмыслица. Вспоминаются разговоры об истории, о судьбе России — мы их должны учить, они нас должны учить. Это — бред, потому что

никто никого ничему не может научить. Если говорить об историческом опыте, он, увы, одними народами у других воспринят быть не может.

Действительно, увы... Солженицын вначале предполагал, что можно российским трагическим опытом поделиться и осознать его. Но вот сравнительно недавно сказал, что понял — невозможно.

Да что толку говорить о том, чтобы передать опыт другим, когда народы своих учителей не слушают. Лев Толстой, обращаясь к правящему классу России, кричал, буквально криком кричал: "Поделитесь, поделитесь! Только не допустите до крови! Поделитесь!" И Достоевский то же самое. Послушали их? Улышались? Вот, говорят, что в России литература была учителем. Есть такой подход. Но, понимаете, существуют такие неприятные тонкости: во-первых, часто неизвестно чему она учила; во-вторых, неизвестно учила ли; и, в-третьих, кто были ее ученики? Писатель был вторым правительством, но вот, я уже привел пример со Львом Толстым и Достоевским. Поделились? Ни черта подобного. Допустили до этого кошмара. А это ведь не из-за границы кричали. От Ясной Поляны до Москвы пешком можно идти.

Но тогда не было опыта, а теперь он есть, опыт страшный. Сколько свидетельств из России: литературных, философских, исторических. И все они доступны Западу.

И тем не менее, не может он чужой опыт воспринять.

К сожалению. Солженицын в одной из своих речей сказал, что, видимо, Запад должен сам через это пройти, чтоб затем изжить.

Неприменно. Я смотрю на все еще более пессимистически. И знаете, в таких случаях я отвечаю на вопрос, как начетчик. Есть знаменитая притча о "Богатом и Лазаре". Вы ее, наверное, помните. Там, богатый, очутившись в аду, обращается к Аврааму: "Отче Авраам, пошли нам Лазаря в нашу деревню, чтоб он рассказал, как надо себя вести, чтобы быть хорошим человеком". Авраам сказал: "У вас же есть Моисей и Пророки, пусть их и слушают". "Нет, отче, — ответил богатый человек, — одно дело Моисей и Пророки, другое, если мертвый воскреснет и придет, и узнают его знакомые, то тогда послушают". Авраам сказал: "Если не послушали Моисея и Пророков, то и воскресший не поможет". Вот и я могу сказать то же самое. Никого не послушают. Нужно на собственной шкуре почувствовать.

Вы считаете, что они придут и сюда?
Они уже здесь. Какое страшное смертоубийство вокруг. Половина мира не ест. О чем Вы говорите?

Все это так. Однако существует маленький клочок "земли обетованной", — несколько европейских стран, США, Канада и еще кое-что, где пока что сохраняется свобода, сохраняется цивилизация, и, по-Вашему, это должно неизбежно погибнуть?

Я этого не знаю. Сие не от нас зависит. Тот, кто скажет, что знает — соврет.

Вы почти цитируете Галича: "Бойся того, кто скажет, что знает, как надо".

Так оно и есть. Во всяком случае, не в наших это силах этот процесс остановить, если даже мы бесконечно будем рассказывать западным людям, что случилось с нами. Повторяю: "Сие не от нас зависит"...

Мы заканчиваем этот разговор в этом саду под колокольный звон. Каким он Вам кажется: погребальным или несущим в себе надежду?

Как же там заканчивается откровение св. Иоанна: Свидетельствующий это говорит: "Ей, гряди скоро! аминь". И как бы ответ Иоанна: "Ей, гряди, Господи Иисусе..."

Взял интервью Александр Глезер

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

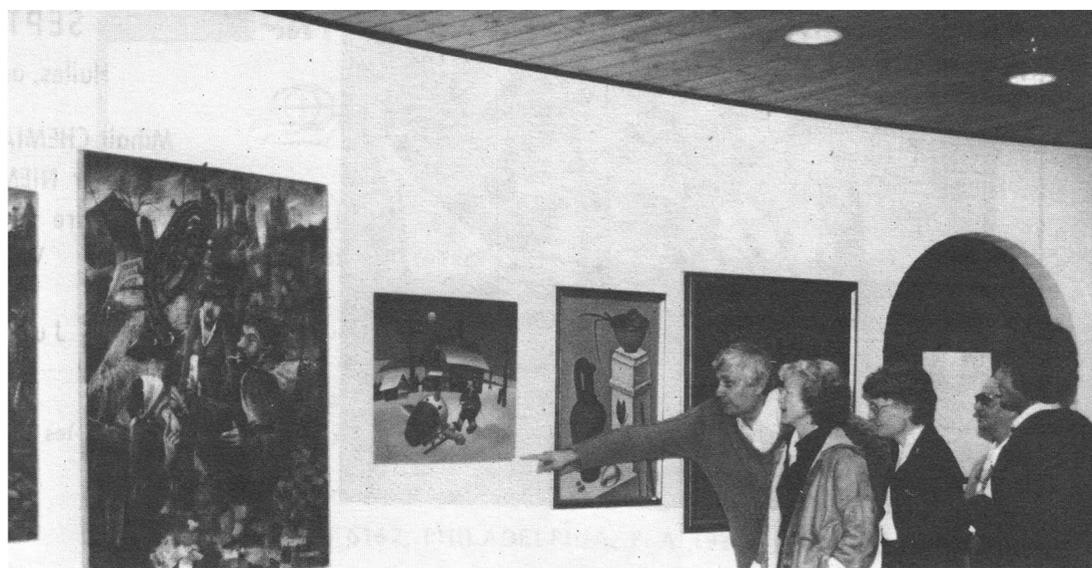
РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ



С 26 мая по 12 июня в Меербуше, пригороде Дюссельдорфа, состоялась экспозиция русского неофициального искусства из собрания Монжеронского музея. На ней демонстрировалось свыше семидесяти работ тридцати восьми художников, как эмигрантов, так и живущих в СССР. Экспозиция была подготовлена таким образом (и размеры выставочного зала позволяли сделать это), чтобы показать все течения и тенденции, существующие в свободном русском искусстве. Зрители могли увидеть и неоэкспрессионизм Оскара Рабина, Олега Целкова и Анатолия Зверева, и концептуальные построения Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского и Леонида Сокова, и кинетистов из группы "Движение" Льва Нусберга, и группу Михаила Шемякина "Санкт-Петербург", т.е. метафизический синтетизм, и абстрактные полотна Лидии Мастерковой и Эдуарда Штейнберга, и русский поп-арт покойного Евгения Рухина, и русский фантастический реализм Бориса Свешникова, Дмитрия Краснопевцева, Вячеслава Калинина, Владимира Немухина, Владимира Вейсберга, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева и Валентины Кропивницкой, и сюрреалистические холсты Николая Вечтомова и Иосифа Киблицкого, который, кстати, приложил немало усилий для организации этой выставки, и неокубизм Анатолия Крынского, и романтический реализм Владимира Григоровича, Льва Межберга и Александра Рабина...

Критик газеты "Русская мысль" Кира Сапгир писала: "Даже те, кому хорошо известно творчество этих художников, увидели их как-то по-новому:

развешенные по стенам зала-кольца картины проплывали перед вами словно бесконечный кинокадр". Четырнадцатью статьями откликнулись на выставку западногерманские газеты. Критики и журналисты особо отмечали работы Плавинского, Свешникова, О.Рабина, Нусберга, Махова, Киблицкого, Яковлева, Калинина, Крынского, Межберга, Мастерковой, Овчинникова, Сокова, О.Лягачева, А.Васильева, Э.Зеленина, В.Шапиро.



На пресс-конференции, состоявшейся в день вернисажа, директор Монжеронского музея Александр Глезер рассказал об истории движения художников-нонконформистов и ответил на многочисленные вопросы журналистов. В целом западногерманская пресса очень доброжелательно откликнулась на выставку в Меербуше и высоко оценила ее уровень. Вот несколько цитат из немецких газет:

"Эта выставка неофициального рус-

ского искусства свидетельствует об очень высоком уровне русских художников" ("Райнише пост").

"Впервые мы присутствовали на столь обширном ретроспективном показе — от абстракции до гиперреализма" ("Вест-Дойче цайтунг").

"Эта выставка опровергает мнение о том, что свободное русское искусство якобы провинциально" ("Райн-Боте").

Что ж, последняя цитата, на кото-

рой я хотел бы поставить точку, хороший ответ не только западным снобам и апологетам авангарда любой ценой, но и тем нашим художникам-эмигрантам и искусствоведам, которые пытаются им подражать, глядя на все отечественное свысока, скептически пожимая плечами.

Николай Карелин



Галерея Мари-Терез в Париже — Выставка семи художников

Это — уже четвертая выставка, устроенная новой парижской галереей. Александр Глезер, помогавший в подборе произведений и в устройстве экспозиции, уже писал, что эта выставка — так сказать, "летняя" и состав ее ориентирован, в частности, на туристов, которые более склонны приобретать компактные и легкие графические листы, нежели картины, написанные маслом на холсте. Это обычная практика парижских галерей в такой сезон.

Оскар Рабин, произведения которого уже в третий раз экспонируются



Galerie Marie-Thérèse

73, Quai de la Tournelle
75005 Paris - Tél. : 325.34.37

SEPT PEINTRES RUSSES

Huiles, aquarelles, dessins, lithographies

Mihail CHEMIAKINE	Oscar RABINE
Vladimir NIEMOUKHINE	Valentina SHAPIRO
Alexandre RABINE	Vladimir TITOV
Valentina KROPIVNITSKAYA	

19 Juin au 31 Juillet 1984

Ouvert tous les jours sauf Dimanche et Lundi de 14 à 19 h.

в галерее, представил на сей раз несколько подвешенных рисунков углем. Графика Рабина — своеобразный коррелят его живописи; в частности, "Русская деревня" представляет собой вариацию на тему одноименной картины — с керосиновой лампой и избами вокруг.

Художник остается верен своим принципам построения пространства, а именно: для него важен и сам предмет, и промежуток между соседствующими предметами, характер отстояния вещей друг от друга, импульсы, идущие от одной изображаемой вещи к другой.

Поэтому Париж Оскара Рабина — это не открыточный, "видовой" Париж, с его характерными строительными массивами, но — город, по возможности разнимаемый, расчленяемый, как в "Апельсинах", где сверху на серой бумаге кучка апельсинов, а внизу, без видимого логического соответствия — неровные очертания городских домов.

В "Монмартре весной" художник, как всегда, не конкретизирует расстояния между постройками и фонарями, которые слегка подвешены желтой акварелью.

Графические кунштюки Валентины Шапиро производят глубоко отрадное впечатление, особенно если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится искусство станковой графики, как на родине, так и за рубежом. Они напоминают и рукоделие, вышивку, и осколки древних фресок одновременно. В "Видении", изображающем странную женскую фигуру с палочкой и шаром, художница избегает традиционных контуров и плоскостей, а моделирует эту фигурку краткими, почти параллельными штрихами.

Владимир Титов также как главное выразительное средство использует энергичский перовой штрих черной тушью. Его сюжеты безотрадны и жутки.

У всех пяти его работ одинаковое название — "Улица". Реальное же содержание шире. Закоулки, проулки, задворки, дворы, в которых шатаются какие-то неопределенные типы. Его любимое метеорологическое состояние — вечеряющий зимний пасмурный день.

Графические фантазии Михаила Шемякина несколько напоминают популярного в начале века художника П.Е.Щербова. На мой взгляд, протяженный, биоморфный, извилистый контур

шемякинских работ в конечном счете не так хорошо сочетается с интересной самой по себе бархатисто-серой гаммой, как хотелось бы.

На выставке представлены также несколько цветных графических работ Валентины Кропивницкой, продолжающей развивать и расширять тему своих человекоподобных зверьков. В "Русском пейзаже" находим неожиданную реминисценцию из Левитана "Над вечным покоем", только сочетание полуострова, водной глади и неба дает иное настроение — как бы пародия на графику конфетных оберток.

Единственное исключение на этой выставке графики — картины маслом

Александра Рабина: "Утро в Риге", "Домик" и др.

Также тяготеет к живописи и москвич Владимир Немухин. Точнее сказать, в живописи он подчеркнута графичен, а в графических вещах чувствуется живописное начало; такова его гуашь "Игра в карты".

В целом эта выставка не представляет, конечно, за русскую современную графику вообще; но представление о ней она дает неплохое, особенно если учесть ее небольшие размеры — около двух с половиной десятков вещей.

Анатолий Копейкин



Александр Рабин. "Город", холст/масло, 1981

читайте журнал



МИР

ПОДПИСНОЙ КУПОН

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЖУРНАЛ "МИР"

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

АДРЕС:

ПОЧТОВАЯ ЗОНА (ЗИП КОД)

ПОДПИСКА НА 1984 ГОД — ДЛЯ США — 24 ДОЛЛАРА,

ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН — 28 ДОЛЛ.

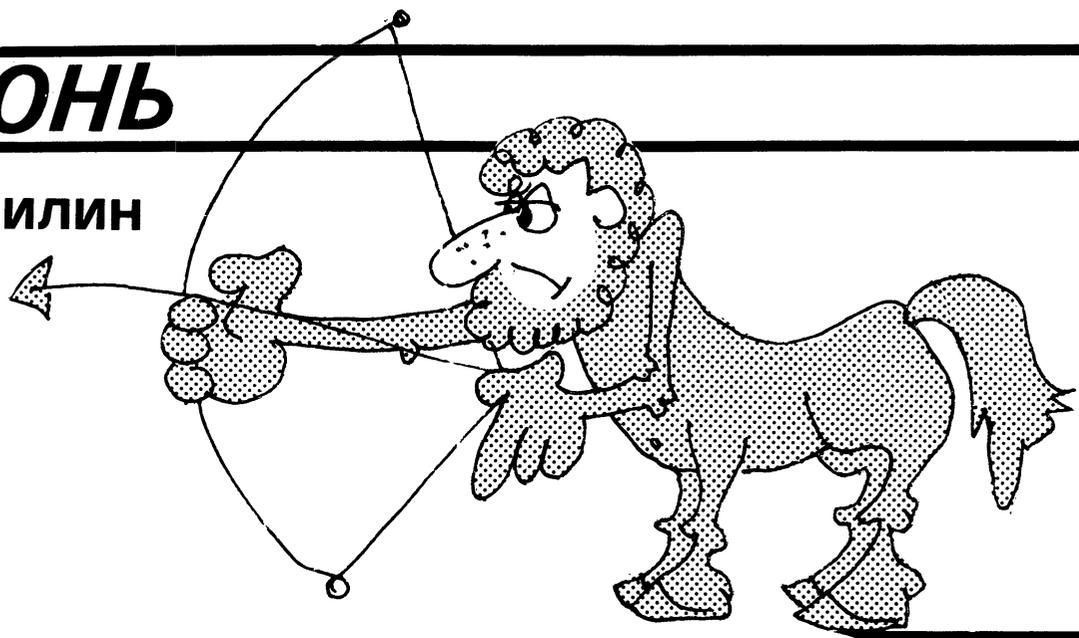
ЧЕК ИЛИ МАНИ-ОРДЕР СЛЕДУЕТ ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:

PEACE INC. P O B 6162, PHILADELPHIA, P. A. 19115. USA

Анатолий Гладилин

ОДА ЧЛЕНУ Политбюро

⊖
Фельетон



Я удивляюсь, почему западная пресса, которая любит покричать о каких-то нарушениях прав человека в Советском Союзе, до сих пор не обратила внимания на трагическое положение некоторой группы людей, действительно лишенных самых элементарных прав. Они живут почти так же, как и советские политзаключенные: все время находятся в закрытом помещении, передвигаются только под охраной, состояние их здоровья катастрофическое, а главное, они фактически не имеют права на пенсию.

Кто же эти несчастные люди, которым почему-то никто не хочет посочувствовать? Да это же наши дорогие портреты, уважаемые труженики на ниве руководства. Короче говоря, члены Политбюро ЦК КПСС. Естественно, я предвижу возражения и даже безответственные иронические усмешки, мол, как же так, а дачи, особняки, роскошные городские квартиры, кремлевские пайки, черные "ЗИЛы", лучшие врачи из четвертого управления. Однако, не спешите завидовать товарищам-членам, ибо, любой здравомыслящий человек вам скажет: "здоровье дороже".

Итак, перед нами рядовой член Политбюро. Как правило, ему за семьдесят. Причем, лет сорок из этих семидесяти, ему надо засчитывать, как на войне. Один год за три. Член Политбюро — как сапер — не имеет права на ошибку. Один неточный шаг, — и сгорел на всю жизнь. Ну, хорошо, раз он попал в Политбюро, то он этих шагов избежал. Но какого дикого нервного напряжения ему это стоило! Поэтому наш семидесятилетний член совсем не похож на своего американского ровесника. Американец, он на лошади ездит, в гольф играет. А можете ли вы себе представить нашего, рядового члена на лошади? Дай ему Бог в свой "ЗИЛ" без посторонней помощи забраться.

Старикам очень полезны прогулки на свежем воздухе. Вот американцы, выйдя на пенсию по всему миру шастают. Но видели ли вы когда-нибудь хоть одного члена Политбюро, гуляющего по улице? Правда, говорят, что на закрытых дачах их выводят под ручки подышать воздухом. Так, ведь, политзаключенных тоже выводят. В тюрьме двор поменьше — вот и вся разница. Право на здоровье, это великое право, которого члены Политбюро начисто лишены. Сложилась парадоксальная ситуация: лечиться член Политбюро может, а болеть — нет. Поболеешь месяц, пропустишь несколько заседаний, и вдруг обнаружишь, что твои соратники втихомолку вывели тебя из состава Политбюро. Поэтому-то никто не рискует. Вон, товарищ Пельше, можно сказать, из гроба вставал, но приходил на трибуну мавзолея. Долго болеть осмеливается лишь генеральный секретарь. Когда он в больнице, все остальные члены Политбюро спокойны за свои места. Никаких перетрясок не предвидится. Теперешнего генерального секретаря скоро свезут в больницу. Так оно надежнее.

А самое главное для человека — это право на пенсию. В течение столетий в суровых классовых битвах с капиталистами и угнетателями рабочего класса трудящиеся во всем мире добились этого права. Любой работающий человек желает поскорее выйти на пенсию, читать газеты, копать грядки в своем саду, поливать цветочки, играть с внуками. Всех нормальных людей провожают на пенсию с почетом, всех, кроме членов Политбюро, для члена Политбюро выход на пенсию страшнее любой пытки. Сразу его имя исчезнет со страниц газет, из всех справочников и энциклопедий. Это крушение всей его жизненной карьеры. Вспомните, в какое идиотское оцепенение впал товарищ Подгорный, как ры-

дал товарищ Кириленко, когда выяснилось, что их отправили на заслуженный отдых. Поэтому члены Политбюро, как каторжные обречены работать до самой смерти. А радости у них мелкие, незначительные, получить очередной орден к очередному юбилею, дать приказ об уничтожении очередного пассажирского авиалайнера какой-нибудь южнокорейской авиакомпании, захватить еще одну страну в Азии или в Африке. А толку что? Все равно вместо икры врачи прописали лишь манную кашу.

Итак, подведем итоги. Трудно представить себе более тяжелую долю, чем доля члена Политбюро. Полжизни под строгой охраной, в наглухо закрытых прокуренных комнатах бесконечные заседания, нездоровый сидячий образ жизни, и, значит, полное нарушение всех функций организма. И вот каждое утро этот старик еле пробуждается от ночных кошмаров: приснился Сталин или Хрущев. Его мучит запор, геморрой, боли в животе, в груди, руки и ноги дрожат. Он сразу глотает кучу таблеток, но от этого голова делается чугуном, а на лице появляется привычная маска служащего похоронной конторы. Его одевают, а он пытается вспомнить, что было вчера, и уж точно не помнит позавчерашнего. Он плохо видит, почти не слышит, и молит Бога и Дьявола дать ему сил правильно прочесть доклад, написанный за него помощниками, произнести без запинки слово "социализм" и не перепутать свое место в строю при выходе на торжественное заседание. Он нервничает, но не имеет права этого показать, и поэтому от напряжения у него еще больше кружится голова. И вот в таком состоянии его вносят в машину, плотно закрывают бронированную дверцу, чтоб не выпал по дороге, и везут управлять огромной страной.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ПА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ПА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.

180 стр. \$10.00

Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

VIATCHESLAV SYSSOÏEV

Silence
HOPITAL

*Quel institut d'expertise psychiatrique pourrait déterminer
la folie d'un seul, lorsque tous sont fous ?*

Présenté par Omé



scarabée & compagnie